

Ина Кузнецова

ЗОНА
МИЛОСЕРДИЯ

Москва
Издательство им. Сабашниковых

УДК 355.257.72(430)(47+57) «1941/1945»
ББК 63.3(2)622,72
К89

Редактор *Л. Заковоротная*

Оформление *Е. Шурлаповой*

Кузнецова, Ина Павловна

К89 Зона милосердия/Ина Кузнецова. – М.: Издательство
им.Сабашниковых, 2005. – 160 с.

ISBN 5-8242-0101-3

Ина Павловна Кузнецова, врач, доктор медицинских наук. В 1945 году закончила медицинский институт и по распределению попала в спецгоспиталь для военнопленных.

Ее автобиографическая повесть о первых шагах молодого врача, пациентами которого стали немцы, вчерашние враги. Теперь для нее это просто больные, нуждающиеся в помощи и сострадании. Зона, обнесенная колючей проволокой, становится для нее школой милосердия, нравственного и профессионального становления.

Пройдя за три года путь от рядового врача до заметителя начальника госпиталя, Ина Кузнецова в финале сопровождает эшелон с больными в Германию. Вопреки предписанию не брать самых тяжелых, героиня повествования добивается отправки на родину почти безнадежных больных, ставя врачебный долг выше инструкций НКВД.

Публикуется впервые.

ISBN 5-8242-0101-3

© И. Кузнецова, 2005

© Издательство им.Сабашниковых, 2005

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Студенткой 1-го Московского медицинского института, я вместе со всей страной, пережила четыре тяжелых года войны. Наш выпуск врачей, первый послевоенный, был распределен во все уголки страны. Меня судьба забросила в режимное учреждение Московской области – спецгоспиталь 4791.

Госпиталь для военнопленных.

Здесь не было линии фронта. А бывшие солдаты противника стали моими пациентами.

Войны без пленных не бывает... Они ее неизбежное прямое порождение. Но кто они – эти пленные? Удивительным кажется, что военнопленные, как явление, почти не отражены в военной и послевоенной литературе. Их как будто стыдятся. А вопросов возникает много: моральных, этических, общечеловеческих.

Так кто же они? Конечно, враги! Но враги – вчерашние. Пленный – безоружен, раздавлен, уничтожен морально и живет под страхом уничтожения физического. Ну а если он к тому же еще и тяжело болен?

А ты – врач! Какова твоя роль? Что ты должен делать?

Спецгоспиталь 4791, в котором я делала первые самостоятельные, робкие шаги в профессии, стал местом, где я искала ответы на эти сложные и такие мучительные вопросы.

Коллектив, которым руководил начальник госпиталя Виктор Федосеевич Елатомцев, был коллективом единомышленников. Добро, уважительное отношение друг к другу являлось его девизом. Я училась у этих людей. От них я получила первый и самый мощный заряд того, что составляет сущность нашей профессии – милосердия, в котором сконцентрированы для врача профессионализм, ответственность и любовь к больному.

Спецгоспиталь 4791 был, на мой взгляд, особенно в то время, явлением исключительным.

Оставить на земле память о нем сделалось моей непрременной задачей.

Я написала книгу...

ЗОНА
МИЛОСЕРДИЯ

*Посвящается
коллективу спецгоспиталя 4791*

– Вот мы и приехали, – весело возвестил Алексей, бросив поводья.

Спрыгнув с телеги, я оказалась перед длинным одноэтажным деревянным зданием с множеством окон и дверей. Все они были закрыты. Люди еще спали. Без четверти пять утра.

Мы находились на небольшом пригорке. В некотором отдалении стоял такой же барак, за ним другой, третий. Они были одинаково неприглядны: выкрашенные грязновато-коричневой, порядком облупившейся краской постройки наводили уныние. Оно усугублялось отсутствием растительности: ни одного дерева или кустика, лишь кое-где из потрескавшейся от жары глинистой почвы выбивалась чахлая травка.

За бараками дорога спускалась в широкую ложину. Она представляла собой громадный прямоугольник, на котором ровным строем очень близко друг к другу в два ряда стояли точно такие же бараки. Между рядами проходила широкая дорога.

Рассматривая подробности, я вдруг увидела то, чего не заметила в первый момент. Весь прямоугольник был обнесен забором с многочисленными витками колючей проволоки. Картину дополняли вышки: четыре угловые и две – по длинным сторонам прямоугольника. И на каждой – солдат с ружьем.

Невольно вырвавшееся восклицание заставило Алексея обернуться. Проследив направление моего взгляда, он удивленно спросил:

– В чем дело, ты что, не знала, куда едешь? Да, здесь госпиталь военнопленных, в основном – немцев. И это Зона.

Я молчала. Ведь я действительно не знала. В путевке стояло: «...согласно распределению, по распоряжению Мособлздравотдела направляется в Скопинский райздравотдел».

Словно зачарованная, я не могла отвести взгляда от Зоны.

Боже мой, ведь это система НКВД, тюремный режим для больных. Что предпринять? Отказаться от путевки, полученной с таким трудом? Да и как это реально осуществить? Прямо сейчас сказать, что еду обратно? Господи, какая глупость! Кто же меня повезет? Ведь мы только что проехали от станции 22 километра.

Положение казалось безвыходным.

Алексей вернул меня к действительности:

– Давай-ка я покажу тебе твою комнату.

Он снял с телеги мой скудный багаж и вошел в помещение. Машинально, словно сомнамбула, я последовала за ним. По коридору налево, вторая дверь от входа – и я оказалась в предназначенной мне комнате. Слегка продолговатая, 15–16 квадратных метров, одно окно с тюлевой занавеской, стандартный набор скучной мебели: застеленная байковым одеялом железная кровать, у правой стены платяной шкаф, стол у окна, слева – тумбочка, стул и табуретка.

Алексей поставил вещи.

– Не горюй, – сказал он, – привыкнешь, у нас народ хороший.

И ушел.

Я осталась одна. Боже мой, какое убожество! Потом, словно спохватилась: да разве это главное? Главное – там, в лощине! Сколько витков колючей проволоки натянуто? 10, 15, может 20?

Кругом ни звука. Я продолжала стоять посреди комнаты: мамы нет рядом и некому сказать ни слова. Что же делать?

Вдруг мысли приняли другое направление. Но для чего-то я сюда попала, после стольких перипетий и волнений? Может, это судьба?

В этот момент без стука приоткрылась дверь, показалась седая голова в белой косынке, и ласковый голос произнес:

– С приездом, доченька! В 9 часов – в кабинет начальника госпиталя, – и скрылась. Я посмотрела на часы – без пяти шесть.

Этот чужой, такой нежный и ласковый голос тронул меня до слез. Не контролируемые, они брызнули, принося облегчение.

Перед отъездом от друга нашей семьи – художника я получила в подарок картину: на большом холсте в простой вазе роскошный букет сирени играл и переливался тончайшими оттенками лилового. Передавая ее мне, Сергей Михайлович сказал:

– Пусть это будет кусочек твоего дома на чужбине.

Именно сейчас мне очень нужен был этот кусочек.

Я достала картину, поставила ее на тумбочку. И произошло чудо – комната из чужой и унылой вдруг стала приветливой и уютной. Отчетливо почувствовался запах сирени.

И опять возникла мысль: может, все, что произошло, и впрямь не простое совпадение? Может, мой приезд сюда – это Божий промысел, и мне надо принять все как оно есть, без сопротивления?

Я открыла окно и села к столу. И как-то само собой выкристаллизовалась причудливая цепочка предшествовавших событий.

Первый послевоенный, полноценный выпуск врачей 1-го Московского медицинского института был весь целиком отправлен на периферию, на непременно полагающуюся трехлетнюю отработку.

К этому времени обстановка в моей семье была чрезвычайно трудной. Мама – юрист – уже давно не работала в связи с тяжелым заболеванием. Папа – инженер, человек далеко не молодой, из ополчения, куда он пошел добровольцем, вернулся глубоким инвалидом. Все, что можно было продать, было продано. Мы жили на мою стипендию.

На комиссии по распределению я получила направление в Тюмень. Просьба заменить путевку на более близкое к Москве назначение, подкрепленная медицинским свидетельством, была отклонена. Тот же ответ я получила в деканате и в Центральной комиссии при Наркомздраве СССР. Последняя инстанция – заместитель наркома по кадрам.

Записываюсь на прием.

Встреча с приветливо-добродушной улыбкой.

Кратко излагаю суть. Слушает внимательно, иногда любезно кивает головой.

– Конечно, мы вам поможем, несомненно, поможем, мы устроим ваших родителей в хорошие больницы, и вы спокойно поедете в Тюмень.

В первый момент я подумала, что это шутка. Заблуждение рассеялось быстро. Улыбки кончились. Когда я взялась за ручку двери, раздались жесткие слова напутствия:

– Неповиновение рассматривается как преступление, оно уголовно наказуемо.

Вернулась домой – маму лихорадило. Папу только что выписали из нервно-психиатрического отделения Соловьевской больницы.

Я совершила это преступление – просто не поехала в Тюмень.

Пять долгих месяцев мы жили под постоянной угрозой санкций. Возможность поступить на работу в Москве исключалась: наравне с дипломом требовалась справка о трехлетней отработке.

Наша соседка по квартире была швея-надомница (это слово давно уже вышло из употребления). Она шила халаты для сотрудников общепита. Я быстро освоила это ремесло и вошла с ней в долю. Так мы и жили.

Для молодого врача это был тупик.

И вдруг произошло чудо.

Неожиданно в нашем доме появилась дальняя родственница, с которой война разорвала все связи. Она тоже была врачом. Ее муж погиб на фронте. Потеряв

свою квартиру во время эвакуации, она с двумя детьми обосновалась под Москвой и работала в Мособлздравотделе организатором здравоохранения.

День, насыщенный воспоминаниями и радостью встречи, промелькнул как мгновение. Утром следующего дня, забежав на несколько минут, она ничего не объясняя, унесла с собой мою ненавистную путевку в Тюмень.

Через два дня она появилась вновь.

На сей раз, как добрый ангел с переадресованной путевкой. Чудо состояло и в том, что это произошло вполне легально – ей удалось найти врача, искавшего возможность поехать на работу в Тюмень.

В моей новой путевке значилось: Мособлздравотдел направляет меня, молодого врача только что окончившего медицинский институт, в Скопинский райздравотдел.

Так пришло спасение.

Неожиданно я вздрогнула: по коридору прозвучали чьи-то быстрые шаги.

И вновь наступила тишина.

Цепочка воспоминаний оборвалась. Я посмотрела на часы – десять минут восьмого. Как медленно идет время. Мне захотелось вновь вернуться в атмосферу тех лет. Но не получилось. Мысли шли в другом, более жизнерадостном направлении.

Прощание с мамой было грустным и тяжелым. Мама была еще очень больна. И вместе с тем мы обе испытывали радость. Наконец разрублен гордиев узел, из тупика удалось выйти. Разорван порочный круг.

А что касается путешествия до места назначения, то оно превратилось в цепь любопытных событий.

Ехала я вечерним поездом. Он был переполнен до отказа. Плохо одетые, усталые, полуголодные люди с чемоданами, мешками, узлами. Стоявших было больше, чем сидячих. Я тоже ехала стоя. Примерно через час пути стало смеркаться. Света не зажигали. Пожилой мужчина, сидящий третьим на краю лавки, слегка потеснил соседей, освободил, нет, не место, а птичью жердочку, и, обращаясь ко мне, сказал:

– Если уместись – садись.

Я уместилась. Ах, как стало хорошо! Немного поговорив, сосед задремал. Будущее представлялось мне радужным. Наверняка, это врачебный участок в каком-нибудь селе Скопинского района. Работы будет много, а я верила в свои силы.

Сосед проснулся:

– На следующей станции тебе выходить.

Тамбур был пуст. Из всего поезда на перрон я сошла одна. Была половина первого ночи. Дощатый перрон показался мне очень длинным. В противоположном его конце тускло мерцал единственный фонарь. Справа платформу окаймляла невысокая глухая стена. Слева, по другую сторону железнодорожных путей, плотной стеной стояли высокие сосны: казалось, они упираются в небо. Когда скрылись два красных огонька последнего вагона и замолкли звуки поезда, наступила первозданная тишина. Все молчало: и звезды, и сосны, и ветер, а людей не было. Только мои негромкие шаги по деревянному настилу нарушали это безмолвие.

На мне был пестрый ситцевый сарафанчик с кофточкой-распашонкой, носки и туфли на низком каблучке. В руках – небольшой чемодан и мешок с картиной. Я медленно шла и наслаждалась тишиной.

Все казалось нереальным, словно из другого мира, походило на сказку: и сосны, и звезды, и далекий, какой-то призрачный фонарь, и эта удивительная звенящая тишина. Шла медленно, и мне начинало казаться, что я одна в целом мире. Не испытывая ни страха, ни беспокойства, я даже не затрудняла себя вопросом: Как же быть? Что делать дальше?

Было на редкость хорошо и легко.

Между тем я почти подошла к фонарю. Стена справа закончилась строением, похожим на станционный зал ожидания. Дверь была открыта настежь. Я вошла. Неметеный пол с разбросанными бумажками, облупленные стены, с закопченного потолка на длинном зеленом шнуре свисала мутная лампочка, почти не давая света. Око-

шечко с надписью «Билетная касса», было наглухо закрыто. На криво приклеенной бумажке сообщалось, что билетов нет. Кругом ни души. Задумалась – что же делать? В путевке было указано, что к поезду будет выслана машина. Собираясь выйти из этого неприятного помещения на свежий воздух, в правом углу станционного зала на одной из лавок, расположенных вдоль стен, я вдруг увидела лежащего мужчину в брезентовом плаще и сапогах. Он крепко спал. Его седая пышная борода струилась, достигая пола и частично распространяясь по нему отдельными прядями. Подошла поближе, чтобы разглядеть это фантастическое зрелище. В этот момент со скамейки из левого угла зала поднялась другая, не замеченная мной, мужская фигура и направилась прямо ко мне. Это был невысокий парень, одетый в зеленую куртку военного покроя, и в такие же брюки, заправленные в сапоги. Из-под сдвинутой на бок сероватой фуражки на лоб падал завиток рыжих волос.

– Ты не доктор ли? – спросил он добродушно.

– Да, – ответила я.

– Так тебя дожидаюсь, я и задремал маленько, – сказал он несколько смущено. И затем тут же уверенно:

– Ну, поехали.

У двери оглянулся:

– Давай поклажу, поди, тяжело тебе, уж больно щуплая.

Мы вышли на перрон. Та же ночь, те же звезды, те же сосны. Но сказка уже улетучилась, все стало будничным.

А где же машина? – подумала я.

По шатким ступеням спустились мы с перрона и обогнули вокзал. На лужайке, привязанная к столбу, стояла чудесная бурая лошадка, запряженная в телегу. Она медленно двигала челюстями и помахивала хвостом. На телеге высилась небольшая копна сена. Парень заметил мое замешательство.

– Аль москвичам такой транспорт не по душе? У нас две машины, и обе в ремонте. Вчера самого начальника на этой вот лошадке возил. Так что садись. Давай подсоблю, небось, сама не сумеешь.

Я, легко вскочив, окунулась в душистое, колкое сено.
– Ишь, ты, – пробурчал он себе под нос и натянул поводья.

Лошадка встрепенулась, и мы тронулись. Скоро выехали на проселочную дорогу, ровную, широкую, хорошо утрамбованную, каких до сих пор бесконечное множество на Руси.

Все воспринималось как сказка. Особенно для человека, живущего в городе, долго никуда не выезжавшего. Это был совсем другой мир иной, незнакомой, планеты. Аромат ночи сливался с ароматом свежей высушенной травы, вызывал легкое головокружение. Ощущение усиливал ритмичный бег лошадки, мягкий стук ее копыт, нежное пофыркивание. В эти звуки вплеталось чуть слышное поскрипывание правого заднего колеса телеги. Эта фантастическая симфония ночи будоражила воображение, рождала мечты, звала в неведомое.

Довольно долго мы ехали по открытой местности. Когда дорога пошла лесом, нас словно окутал туман, стало совсем темно, мрачно и таинственно. Но страха не было.

И странно – все тревоги и беспокойства последних месяцев, порой доводящие до отчаяния болезни родителей, безденежье, моя неустроенность с угрозой расплаты за неповиновение – все, тяжелым камнем лежавшее на душе, вдруг исчезло. Дышать стало свободно и легко. Появилась уверенность, что вот-вот все устроится, уже начало устраиваться. Мама выздоровеет, я начну работать, денежные проблемы отступят. Парень упомянул госпиталь, а это не какой-нибудь медицинский пункт в селе. Я буду работать в госпитале, лечить солдат с послевоенной патологией. Наверняка там имеется хирургическое отделение. Я непременно настою, чтобы меня направили туда.

Лес стал редеть. На горизонте появилась светлая полоса, она расширялась.

– Доктор, ты что, аль задремала? – вдруг раздался насмешливый голос.

Я поняла, что ему надоело ехать молча.

Мы разговорились. Его зовут Алексей, здесь он работает более двух лет. Победа застала его на пункте призывников, и он был направлен в госпиталь. Здесь он «и шофер и кучер, и по мелочам на подхвате». Мечтает стать классным шофером, жить в городе и возить генерала, особо отличившегося на войне.

Дорога упиралась в горизонт. Светлая полоса над ним стала широкой. Но солнце еще не взошло. Впереди вдруг сверкнула неширокая речка в пологих берегах. От нее доносился неясный шум, усиливающийся по мере приближения. На всем ходу мы въехали на дощатый мост. На его середине Алексей рывком остановил лошадь. Я еле удержалась в телеге. На мое восклицание Алексей оглянулся и шепотом приказал:

– Молчи, смотри и слушай!

Я увидела нечто ошеломляющее: оба берега реки в предрассветном полумраке представляли собой сверкающую, переливающуюся непрерывно шевелящуюся массу. Наступающий рассвет, причудливо отражаясь на ее поверхности, зажигал ярко вспыхивающие очаги лилового, синего, красного, зеленого, желтого. Они сливались, переходили друг в друга, терялись в полутьме и опять, уловив световой луч, загорались новыми красками.

Оказалось, что эту сверкающую массу образуют различного размера лягушки, сидящие вплотную друг к другу, сотни, тысячи лягушек. Все они были ориентированы на восток – навстречу восходящему солнцу. При этом лягушки левого берега были обращены к воде, в то время как на правом берегу, они сидели к реке спиной. И вся эта сверкающая шевелящаяся масса квакала.

Но как! Это был концерт. И им управлял дирижер. Где он находился – неизвестно, но он явно присутствовал. Звук не был однотонным, скучным и серым. Он варьировал в высоте и силе, отчетливо улавливалась мелодия. То вдруг среди общей пестроты более явственно зазвучали низкие ноты и руладой пронесли по лягушачьему оркестру. Потом внезапно, словно из нее выпали басы, над

рекой поплыл тоненький, нежный звук, напоминающий шелест сухих листьев в осенний день. Звуки рождались не всей массой, возникали откуда-то издалека справа. Потом такой же очаг звуков возникал слева. Эта фантастическая переключка повторилась несколько раз.

И вдруг, в концерт включились все лягушки. Завораживающее многоголосье долго разрывало тишину, посылая к небу фантастические рулады. Затем они словно разбежались, рассыпались повсюду, притихли, стали общим, чуть слышным фоном.

Словно зачарованная стояла лошадка. Алексей закрыл глаза, на его лице играла блаженная улыбка. Я сидела, затаив дыхание, забыв обо всем на свете.

Сколько времени прошло – сказать трудно. Ночь отступила. Светлая полоса на горизонте ширилась и заняла уже полнеба. Хор еще звучал, но менее бравурно. А вскоре послышались новые звуки, похожие на всплески воды. Музыканты удалялись. Концерт был окончен. За считанные минуты берега опустели. Наступила тишина. Поднявшись наполовину над горизонтом, солнце осветило равнину.

Алексей открыл глаза.

– Вот и все, – сказал он, и мы тронулись.

Оказывается, Алексей уже два года знает об этом фантастическом явлении. Однажды старый крестьянин из соседней деревни рассказал ему, что регулярно, один раз в год, в середине июня, 15 – 17 числа, в зависимости от погоды (не должно быть дождя), ночью – ближе к рассвету, из этой небольшой речки все лягушки вылезают на берег, и, ориентируясь навстречу солнцу, устраивают концерт. Он длится полтора-два часа и прекращается с восходом солнца. Алексей всегда стремится на него попасть. Поэтому, хотя очередь была не его, он и вызвался меня сегодня встречать, чтобы еще раз насладиться этим необыкновенным явлением.

Ни раньше, ни позднее я нигде не встречала ни одного упоминания о подобном, ни в книгах, ни в рассказах. Но ведь это не только сюжет для восхищения. Он – часть

окружающей нас живой природы. Должны же натуралисты хоть что-нибудь об этом знать! Три года спустя, вернувшись домой после окончания работы в госпитале, я начала поиск. И нигде ничего не нашла. Ни в энциклопедиях – общей и специальной, ни в книгах, посвященных природе и миру животных. Немного позднее я спросила об этом случайно встреченного зоолога. Он сказал, что однажды слышал, как он выразился, «обывательский рассказ», что иногда лягушки выходят из воды и квакают навстречу восходящему солнцу и что это предвещает плохую погоду. А много лет спустя, на концерте в консерватории, берлинский симфонический оркестр исполнял симфоническую картину живой природы Иоганна Маттезона. На фоне пестрого многоголосья, в котором слышалось пение птиц и шорох растущей травы, шум ветра и сухой треск ломающихся веток, лилась однообразная мелодия. Она то текла непрерывным, монотонным потоком, то вдруг обращалась в цепь коротких, следующих друг за другом звуков различной высоты, а затем вновь восстанавливалась ее тягучая непрерывность. Так солирующая скрипка имитировала лягушечьи рулады. Я вслушивалась в эту скучную мелодию.

И тут внезапно, словно по волшебству, услужливая память распахнула свои затворы двадцатилетней давности. И рядом с этой мелодией, в это трудно поверить, зазвучала та, другая – торжествующий хор лягушачьего концерта. И какое-то время они шли рядом. Они были чуждыми и противостояли друг другу, Маттезон явно не слышал настоящего лягушечьего пения. Но я очутилась на какое-то мгновение во власти той сказочной июньской ночи. Затем видение исчезло. Я вновь была в консерватории.

Но все это было далеко, далеко потом.

А теперь в моей новой комнате...

Я вздрогнула от внезапно открывшейся двери. Мелькнула та же седая голова в белой косынке, и тот же ласковый голос с укоризной произнес:

– Что ж это такое? Уже без десяти девять, пора, пора.

Я надела самое лучшее из своих трех платьев и вышла на улицу.

Дирекция находилась в следующем корпусе.

Сейчас все решится – думала я.

Хотя мысль об отказе от работы и возврате домой еще вертелась в голове, должна признаться, она уже потеряли свою остроту. Главное же – явно недоставало аргументов в пользу подобного решения. И уже совсем было не ясно, что делать дальше в случае, если эта идея с отъездом найдет понимание у здешнего начальства.

Так ничего для себя и не решив, ровно в 9 часов я вошла в кабинет начальника госпиталя.

Просторная комната, на стене напротив двери два окна. Между ними – большой портрет Ленина. Под ним – громадный письменный стол. За ним в массивном кресле, лицом к двери, в полной форме полковника медицинской службы восседал начальник – Виктор Федосеевич Елатомцев. Мощная фигура, на квадратных плечах, почти без шеи, такая же квадратная голова с густой седой шевелюрой. Массивный нос над величественным подбородком и сравнительно небольшие, слегка прищуренные глаза. В этот момент они были устремлены на меня. Поджатые губы придавали лицу неприветливое, слегка насмешливое выражение. Массивные руки с толстыми пальцами покоились на столе. От всей фигуры веяло уверенностью и надежностью. По торцам письменного стола сидели, как оказалось, заместители: очень худой, с приветливым выражением, на вид значительно старше начальника – руководитель лечебной части, первый заместитель начальника – Сергей Дмитриевич Пустынский, в военной форме без погон. И маленький, кругленький, в штатском – руководитель хозяйственной части Михаил Абрамович Гуревич.

Перед столом в центре кабинета в четыре ряда стояли стулья. Их занимали врачи в белых халатах. Преобладали женщины.

Конференция еще не начиналась. Присутствующие тихонько переговаривались друг с другом.

Дверь в кабинет была полуоткрыта, я остановилась на пороге и громко, ни к кому не обращаясь, сказала:

– Здравствуйте.

Разговоры мигом стихли, и все уставились на меня.

Я была в матроске с большим голубым воротником, золотистые волосы натуральной блондинки были коротко подстрижены, с короткой челкой.

Не получив никакого ответа на свое приветствие, я подошла к столу начальника, отрекомендовалась и положила прямо перед ним диплом, путевку и паспорт.

В кабинете было очень тихо. Взгляд начальника медленно скользнул по моей фигуре, затем он взял документы, перелистал их, еще раз мельком взглянул на меня и достаточно громко и отчетливо произнес:

– Господи, какая зелень! – Затем, уже совсем громко, обращаясь к Пустынскому:

– Что же это за безобразие, опять то же самое, ведь я четко написал: нам нужен хирург, – и вот ответ.

Этот нелюбезный прием меня озадачил, на какой-то миг мысль отказаться от работы снова взяла вверх. Мной владели, сменяя друг друга, различные чувства. Наконец, победило стремление самоутвердиться, и я уверенно произнесла:

– Я и собиралась работать хирургом.

На лице начальника вспыхнула насмешливая улыбка, сзади раздался приглушенный смех. И тут Пустынский, ласково улыбнувшись, обращаясь ко мне, сказал:

– Так это же замечательно. Вы нам очень подходите.

Добрый человек бросил мне спасательный круг.

– Хорошо, – категорически сказал начальник, – после конференции разберемся. Садись.

Я обернулась: было два свободных стула – в первом ряду, прямо перед носом начальника, и в последнем ряду. Я, естественно, выбрала второе.

– Э, нет, – услышала я приказной тон. – Садись здесь, – он указал на передний стул.

Так за мной это место и закрепилось на все три долгих года. Равно как и слово «зелень», в виде доброй дру-

жеской насмешки. Я ведь действительно была совсем «зеленой».

Правда, и здешние врачи не были старыми, но все же опытнее меня. Самый молодой врач в коллективе оказался старше меня на десять лет. Может быть, по этой причине, а может и без всякой причины, с первого раза, обратившись ко мне на «ты», Елатомцев утвердился в этом на все последующие годы моей работы в госпитале. Всем остальным врачам он говорил «вы». У нас с ним сложились хорошие, доверительные отношения. Я глубоко уважала его за справедливое отношение к людям, безоглядную прямоту, честность, любовь к больному человеку.

Началась конференция. Сидя перед «ясными очами» руководителя, я пыталась вникнуть в суть происходящего. Но это никак не удавалось. Слишком сильным было впечатление от оказанного мне приема. Пережитый эпизод явился для меня вполне заслуженным уроком. Я ведь совершенно серьезно рассуждала сама с собой, подойдет ли мне работа в этом госпитале. И в глубине своего сознания отвечала на этот вопрос скорее «нет», чем «да».

Но ведь ни на одну секунду не возникла мысль, а подойду ли я ему, госпиталю?

Пережитая психологическая передряга оказалась достаточно сильной. Она, безусловно, повлияла на все мое дальнейшее мировосприятие. А ее сиюминутное значение оказалось еще более очевидным: мысль о возможности отказа от работы просто выпала из моего сознания.

Конференция закончилась. Все направились к выходу. Вдруг до меня донесся голос начальника. Стоя у стола, он говорил Пустынскому:

– Пусть она сегодня устроится. А завтра с утра отведите ее в 13 корпус, ее надо учить у Аренгольд, это получится лучше всего.

Я поняла, что речь идет обо мне. Начальник вышел.

Мы остались с Пустынским.

– Ну вот, все решено, – сказал он, – идите, устраивайтесь, все разговоры на завтра.

Мы расстались.

Я вышла на улицу. Теплый летний дождь. Зона оцетинилась всеми витками своей колючей проволоки. Она по-прежнему устрашала, но все-таки не так остро, как при первом знакомстве.

Кажется, все вопросы моего устройства решены. И так просто – странно. Ведь это режимное учреждение в определенной системе, которая всем была достаточно хорошо знакома. А, между прочим, меня не спросили – комсомолка ли я, член ли партии? Никакого инструктажа относительно поведения в Зоне.

Так просто: «Отведите ее в 13-ый корпус, пусть Аренгольд поучит».

А кто такой Аренгольд? Я подумала, что это врач. А может, это и есть инструктор НКВД. Он будет мне объяснять, как я должна говорить и общаться с больными!

Я вошла в свою комнату. Что ж, поживем – увидим, а сейчас надо устраиваться.

Переставила мебель. Разобрала и разложила по местам вещи. На кровать положила красивое покрывало, а на стол – нарядную скатерть. На тумбочку пристроила довольно большое овальное зеркало. С какой любовью все эти вещи выбирала и укладывала мама.

В коридоре случайно столкнулась с мужчиной, в руках у которого увидела молоток. Господи, как повезло! Я позвала его в комнату, и мы с ним повесили картину. Это был последний штрих. Комната стала неузнаваемой. Изумился и мой помощник. Уходя, очень тепло и искренне пожелал мне счастья на новом месте.

Когда я все закончила, было уже около 7 часов. Сильно уставшая от бессонной ночи, новых впечатлений, напряженных раздумий и переживаний, тоскливого одиночества без мамы, я легла спать засветло.

Проснулась от непонятного непрерывного стука.

Ночь. В окно глядится полная луна. В ее свете я разглядела маленькую фигурку: вытянувшись изо всех сил, мальчик маленькой ручкой непрерывно стучал в окно. Я распахнула ставню. Мальчик, задыхаясь, видимо от волнения, затараторил:

– Тетенька, тетенька, это вы – доктор, сегодня приехали из Москвы?

Ему было лет 10 – 11. Я полностью раскрыла окно.

– Да, – ответила я.

– Скорей, скорей, – голос мальчика срывался и дрожал.

– Скорее, дедушка подавился костью, он умирает.

Инстинктивно, не рассуждая, я накинула халат и выскочила на улицу. Мальчик мчался стрелой. Я умела бегать, скоро догнала его, и мы, не разбирая дороги, мчались вровень. Оказалось, что слева, за нашим баракком находилась деревня – крестьянские избы в один длинный ряд. Все они были погружены во мрак. Лишь в одной ярко светило окно.

– Вот, – крикнул мальчик, указывая на него рукой. Мы были уже совсем близко. В абсолютной тишине я услышала надсадный кашель и тяжелый стридор дыхания.

И тут до меня дошло. С моей стороны это был совершенно безответственный поступок. Вместо того чтобы позвать кого-нибудь из здешних, опытных врачей (они жили рядом), я самоуверенно кинулась все делать сама. Этому не было оправдания. Ведь если кость застряла глубоко в глотке или в пищеводе, помочь я не смогу. Но ничего уже изменить было нельзя. Мы были почти у дома: вдруг кашель и хрипы прекратились. Ужас, охвативший меня, описать невозможно. Волосы стали мокрыми, сердце несчитываемыми ударами колотилось о ребра. Мы одновременно, толкая друг друга, вбежали в избу.

На лавке перед большим столом, заставленным посудой, улыбаясь, сидел красивый старик крупного телосложения с длинной роскошной бородой. От только что пережитого напряжения его лицо было красным. С победоносным видом в поднятой руке он держал большую рыбную кость.

От всех безумных переживаний у меня подкосились ноги – я почти упала на лавку.

Когда после всех душевных разговоров и чая с медом я вышла на улицу, часть солнечного диска уже поднялась

над горизонтом. По приказу бабушки Вася проводил меня до дома.

– Тетенька, приходите к нам в гости, – сказал он на прощание.

Я остановилась у своего порога и взглянула на небо. Оно было чистым и ясным. На душе – радость, нет, не радость – счастье, громадное счастье. Я благодарила Бога и маму.

Несколько часов спустя, выбегая из своего подъезда, я почти столкнулась с начальником и Пустынским. Прогулочным шагом они шли на конференцию. Я остановилась и поздоровалась. Елатомцев тоже остановился. Обращаясь к Пустынскому, он сказал:

– Ну и сотрудника мы с тобой получили: одной ночи не переночевала, а уже стала знаменитостью. – И с полуоборотом в мою сторону продолжил:

– Дела не было, а слава уже гремит.

Я промолчала. А что можно было ответить?

На конференцию я вошла уже с некоторым ощущением своей причастности к происходящему. Поздоровалась с врачами. Персонально ни с кем из них я еще не была знакома. На мое приветствие они ответили по-товарищески хорошо. Однако по нескрываемому любопытству на некоторых лицах я поняла, что моя ночная история им тоже известна.

Студенткой последних курсов я, чтобы ближе приобщиться к хирургии, часто ходила на ночные дежурства в клинику, когда дежурил педагог нашей группы. И нередко на срочных ночных операциях мне выпадала удача «постоять на крючках», либо наложить лигатуру, а то и зашить кожную рану. Иногда после такого дежурства мне случалось бывать на утренних конференциях клиники.

Местная конференция по сравнению с теми, институтскими, проигрывала в масштабах и научности обсуждений. Однако построение было таким же: доклад дежурного врача о событиях ночи, обсуждение тяжелых больных, план сегодняшнего дня и организационные вопросы.

Елатомцев вел конференцию в строгом режиме, заинтересованно вникал в подробности, задавал вопросы, в ответах требовал кратких точных формулировок. Срывался редко. А когда это случалось, бывало страшно.

После конференции я ждала Пустынского, чтобы идти в 13-ый корпус на встречу с Аренгольд.

Я остро помню неуютное, давящее ощущение: сейчас я должна впервые войти в Зону. Мы, советские люди, кое-что знали из этой области. Здесь слово «Зона» было у всех на устах, привычно, буднично, обыденно. К примеру, никто не говорил: «пойти в госпиталь» или «в корпус». Всегда только: «В Зону, из Зоны, в Зоне».

Мною же это слово всегда воспринималось иначе. При первой встрече это громадное пространство, оцетинившееся колючей проволокой, потрясло меня. Я восприняла его как живое, злобное существо, угрожающее каждому, кто входит с ним в контакт. В первую ночь я даже видела сон: нечто страшное, бесформенное, окутанное острыми колючками, подобное гоголевскому Вию, надвигалось на меня. А вокруг многоголосое эхо, разносило слова:

– Это Зона, это Зона, это Зона.

Проснулась, дрожа от ужаса, и почувствовала, что не смогу войти в Зону. Летнее утро унесло страх, но неприязнь осталась.

Мы с Пустынским подошли к Зоне и вошли в проходную. Нам навстречу поднялся дежурный вахтер с довольно мрачным видом. Или это мне показалось?

Мы поздоровались.

– Вот, нового доктора веду, – приветливо произнес Пустынский.

Вахтер тоном автомата произнес:

– Пропуск!

Я протянула только что полученную книжечку. Вахтер, не шевелясь, несколько секунд смотрел на меня, а затем тоном строгого наставника сказал:

– Надо читать, что написано: пропуск подается в раскрытом виде.

Я повиновалась.

– Ну-ну, – произнес Пустынский примирительно. Вахтер взял пропуск. Что там было изучать – не знаю. Дежурный рассматривал его довольно долго.

Я проработала в госпитале три года. Установленный парадоксальный порядок не изменился ни на йоту. В проходной работали четыре сотрудника режимного ведомства. В быту это были нормальные, вполне приличные люди. Их всех я называла по имени. Встречаясь со мной вне Зоны, они вежливо здоровались, иногда мы обменивались дружественными репликами. Но закон проходной оставался неизблемым: пропуск я должна была подавать в развернутом виде.

– Порядок есть порядок, – говорили они.

Наконец, формальности с пропуском были окончены, и я подошла к двери, открывающейся непосредственно в Зону.

И страшно и любопытно.

Свершилось – я переступила через порог. Никаких неожиданностей – почти та же картина, что видна извне. Правильный прямоугольник громадных размеров. Прямая, хорошо утрамбованная широкая дорога пересекает его по длинной оси. Одинаковые, длинные одноэтажные корпуса барачного типа, торцовым концом обращенные к дороге, стоят по обеим ее сторонам. Дорога слегка приподнята над фундаментом корпусов. Ее откосы, словно ковром покрыты негустым зеленым газоном. По нему, с дороги, до единственной двери каждого корпуса, расположенной на торцовой стороне, сбегает узкая тропинка, посыпанная желтым песком. Эта деталь разнообразит скучный пейзаж.

В правом дальнем углу, выбиваясь из общего ряда, располагается корпус для больных туберкулезом – здесь преобладает легочная локализация преимущественно в открытой форме. Доступная госпиталю изоляция этих больных соблюдается неукоснительно.

Все остальные корпуса, лечебные и хозяйственные, занимают центральный и левый отделы Зоны.

Порядок и безукоризненная чистота Зоны поддерживается специальной службой из выздоровевших больных. Они живут в специальном, «хозяйственном» 10 корпусе.

Наконец мы у цели – входим в 13 корпус. Длинный коридор через все здание. По обеим сторонам одинаковые палаты – квадратная комната в два окна, в каждой шесть коек. В первой половине корпуса – кабинет начальника отделения, в середине – ординаторская, во второй половине – хозяйственные помещения. Все клинические отделения построены по этому стандарту.

Когда мы с Пустынским вошли в кабинет заведующего, нам навстречу из-за письменного стола поднялась грузная женщина лет пятидесяти. Густые черные волосы с большой примесью седины тугим пучком заколоты на затылке, прямой нос, сжатые губы, не улыбочивые глаза. Из-под халата выглядывало платье из красивого серого шелка, застегнутого у ворота перламутровой брошью. На ногах – серые туфли на небольшом каблучке.

Оказалось, что это та самая приятная седая дама, на которую я вчера обратила внимание на конференции. Она мне показалась старшей среди всех врачей, не только по возрасту, но и по какой-то особенной осанке.

Это и была Аренгольд Фаина Александровна. Мои опасения относительно сотрудника НКВД, слава Богу, отпали. Однако выяснилось другое: это оказалось терапевтическое отделение, а не хирургическое, о котором я мечтала.

Делать было нечего – я смирилась.

После обычных приветствий Сергей Дмитриевич Пустынский с улыбкой произнес:

– Дорогая Фаина Александровна, как было приказано начальством, из рук в руки передаю вам на воспитание сие молодое дарование, – он нарочно подчеркнул рифму. В его словах мягкой ласки было много больше, чем насмешки. Обидным не показалось.

Он тут же попрощался.

Я волновалась и чувствовала себя очень неудобно.

Волнение обостряет все чувства. До сих пор помню угнетающую обстановку кабинета, где мы остались вдвоем. Лишь роскошный букет полевых цветов в простой стеклянной банке на кругленьком столике перед плохоньким диваном, да монотонное жужжание мухи, ударявшейся о стекло дальнего окна, смягчали мое напряжение.

Обстановка оказалась более чем официальной. Я внутренне поеживалась от неприятливого голоса Фаины Александровны, угрюмого взгляда – ни тени улыбки, ни одного теплого слова юному существу, отданному ей на воспитание. Она перекладывала на своем столе какие-то бумаги. Я стояла там, где меня оставил Пустынский, ища, на чем бы остановить взгляд.

Молчание затягивалось.

– Ну, Ина Павловна, давайте знакомиться, – усталым будничным голосом, наконец, произнесла Фаина Александровна, отойдя от стола.

Мы сели. Спокойно, сосредоточенно, она стала задавать вопросы о моих родителях, моем детстве, школьных годах и институтском периоде. Не меняя тона, последовательно, в хронологическом порядке, словно перед ней лежала ранее заготовленная анкета, она спрашивала о моих увлечениях, интересах, дружеских привязанностях – вдавалась в подробности.

Это походило на допрос. Тон оставался ровным, вежливо-отстраненным, без теплоты в голосе и без улыбки на лице. Лишь изредка в устремленных на меня немигающих глазах вспыхивал интерес.

Но, странное дело, в этих вопросах, задаваемых сухим тоном, под холодным взглядом небольших карих глаз, чувствовалась какая-то своеобразная человеческая заинтересованность. Не праздное любопытство руководило ею. Вникая в подробности жизни чужого, впервые встреченного человека, она словно что-то искала. Но искала не вообще, а персонально для себя.

Это было удивительным.

Но не менее странным – просто невероятным, было и другое: я, никогда никому не рассказавшая свою родос-

ловную, вдруг, находясь в Зоне, за колючей проволокой, в режимном учреждении, впервые спокойно и открыто, без всяких сомнений, поведала то, что никогда не афишировалось нашей семьей.

Что мама происходит из не очень богатого, но знатного дворянского рода, окончила юридический факультет Московского университета в год революции. Что папа – сын деревенского кузнеца, имеет два высших образования, еще до революции в течение 6 лет учился и стажировался в Германии. И многое, многое другое, впервые произнесенное, услышала от меня Фаина Александровна в тот памятный день.

Наконец, допрос был окончен.

Фаина Александровна сидела такая же не улыбкающая, суровая, замкнутая. Помолчали. Она задумалась. Потом сказала:

– Нравственный паритет требует и моего рассказа.

Это было еще более удивительным. Просто невероятным. Она рассказала о себе.

Родилась в Одессе, в большой еврейской семье. Училась в Киеве, окончила медицинский институт и по склонности стала терапевтом. Убежденно считает медицину матерью всех наук. Мобилизована в первый день войны. Сначала – тыловой госпиталь, а дальше – прифронтовые, под Сталинградом и на Курской дуге. До Берлина не дошла. Под Кенигсбергом случился тяжелый сердечный приступ, долго болела, после чего демобилизовалась. Возвращаться было некуда. Все ее многочисленные родственники погибли. Уцелел лишь один брат, инвалид войны. Живет в небольшом поселке под Тулой.

Все это она произнесла на одном дыхании и остановилась. Мы долго молчали.

Лишь много времени спустя я узнала, что свой трагический рассказ она тогда, в первый день нашего знакомства, не закончила. Видимо, не смогла.

Два ее старших брата в первый год войны погибли на фронте. Родители и младшие дети в Одессе были сожжены немцами в печах. А вся обширная киевская родня ча-

стично погибла в лагерях, а большая часть расстреляна фашистами в Бабьем Яру.

Когда, по мнению Фаины Александровны, знакомство состоялось, она с официальным видом, но вполне корректно подала мне шесть историй болезни, и почти на грани приказа сказала:

– Познакомьтесь и завтра вместе разберем.

Я взяла истории болезни и поднялась. Она жестом остановила меня.

– Теперь об особенностях нашей работы, – сказала Фаина Александровна.

– Разумеется, охватить все сразу трудно. Вы вникнете постепенно, но кое о чем надо сказать сейчас. В отделении в основном тяжелые больные, преимущественно с сердечно-сосудистой и легочной патологией. Есть очень тяжелые, все они требуют сложного комплексного лечения и индивидуального подхода. Но ведь это немцы – наши враги, вероломно ворвавшиеся в нашу страну.

Надо сказать, меня поразила такой совершенно неожиданный поворот ее рассуждений. Не сдерживаясь, с явным протестом в голосе, я перебила ее:

– Да, конечно, но сейчас – это больные, страдающие люди. А мы врачи, обяза... – Но тут я спохватилась и на середине слова умолкла.

В томительной тишине Фаина Александровна несколько секунд, не отрываясь, смотрела на меня.

– Да, вы правы, – прервала она молчание.

– Настоящий врач должен помогать больному независимо от того, кем он является. Именно так понимает свои обязанности весь наш госпиталь. Хорошо что вы – единомышленница, – добавила она, вставая, давая понять что разговор окончен.

– Да, кстати, – остановила она меня, когда я взялась за ручку двери, – какой язык вы изучали?

– Немецкий.

– Хорошо, а что-нибудь сохранилось в памяти?

– Несомненно, думаю, что объясниться с больными сумею.

Очень скоро я пожалела об этой необоснованной самоуверенности.

Так начался мой первый рабочий день.

Сколько их было на протяжении последующих пятидесяти лет? Сосчитать невозможно. Они слились в череду неразличимых событий, действий, размышлений, увлечений, разочарований, удач и неудач, потерь и выигрышей. А первый остался единственным, особенным, неповторимым и незабываемым.

Уходя в глубину воспоминаний, я и сейчас ощущаю трепет, испытанный мною, когда, взяв данные мне истории болезни, я остановилась перед дверью «своей» первой палаты. Волнение, страх, ожидание, радость, неуверенность, жгучий интерес – все смешалось и вылилось в рывок открываемой двери: я остановилась на пороге. Все больные лежали. Три койки справа, три слева. Шесть голов, как по команде повернулись в мою сторону, и 12 глаз уставились на меня. Я улыбнулась, переступила порог и произнесла: «Guten morgen».

Безразлично сосредоточенные лица вдруг оживились. Все что-то заговорили в ответ, в палате стало шумно.

Но я не поняла ни единого слова.

Их радость при моем появлении объяснялась очень просто. Ни один врач в госпитале не владел немецким языком. В штате заместителя начальника по режиму, Юрия Сергеевича Ключова, был переводчик Ричард, из уцелевших немцев Поволжья. Но обслуживание клиники в его компетенцию не входило. У него были свои обязанности – воспитывать в военнопленных великие идеи социализма. В красном уголке была собрана пропагандистская литература и наглядные пособия. Ричард делал доклады о международном положении и регулярно проводил читку газет.

А врачи решали языковые проблемы каждый как мог.

Почему они не учили язык, я так и не поняла. Но это было именно так.

Поэтому мои больные так обрадовались, услышав от русского врача свою родную речь. Но, увы, мое знание

языка оказалось иллюзией. Дальше произнесенных этих двух слов дело пока не пошло.

Немецкий язык я учила не только в школе. Несколько лет я брала частные уроки у немки из политкаторжан, живущей в соседнем с нами доме. Ее звали Фрида Оскаровна, мы с мамой ее прозвали «наша немочка». Маленькая, субтильная женщина не пробудила во мне жажду познания. Но кое-что я все-таки усвоила. Однако это годилось только для хороших отметок в классе и поддерживало мою самоуверенность. Встретившись с немцами, я ровно ничего не могла понять. Слушая больных, я просто не различала слов. Их горькое разочарование ясно читалось на лицах, таких обрадованных при моем появлении. Но преобладающим было чувство стыда перед Фаиной Александровной, которой я так самонадеянно заявила, что непременно найду с больными общий язык.

Безнадежный тупик оказался и на пути ее приказа «познакомиться с больными». Каким образом это можно выполнить, не понимая ни одного слова? Фаина Александровна, кстати, упомянула, что очень мало, но все-таки может помочь, выздоравливающий больной Шустер. Он знает десятка два русских слов. Это иногда помогает выйти из затруднительного положения. Однако после моего заявления, гордость не позволила отправиться на поиски этого Шустера.

Из шести больных я выбрала, как мне показалось, говорящего наиболее медленно и членораздельно и кое-как сумела понять, что у него в шахте случился сердечный приступ, и его отправили в госпиталь.

Этим и окончилось мое знакомство с больными. Другим больным задавать вопросы было бесполезно – ответов я не понимала. А, кроме того, открылась еще одна серьезная проблема – я поняла, что даже по-русски я не всегда могу, исходя из соответствующего заболевания, сформулировать вопросы больному. Это уже прямо относилось к профессии.

Словом, я с первых шагов попала в тупик.

Выход я нашла. Как мне казалось, очень удачный.

Прибегла к самому простому. Изучила истории болезни, написанные ранее другим врачом и, согласно описанию, осматривала, прослушивала и проперкутировала каждого больного.

У пятерых имелась сердечная патология, с явлением декомпенсации различных степеней. У шестого, пожилого, истощенного человека, была левосторонняя пневмония. Состояние расценивалось как тяжелое. Я осматривала больных очень внимательно, тем более, что это им, несомненно, нравилось.

Но удивительное явление!

Как хорошо я умела различать сердечные шумы, когда рядом стоял преподаватель. Помню, на четвертом курсе я сдавала зачет на больном, выздоравливающем от долевой пневмонии. Как легко и просто я показала тогда зоны различных хрипов и заслужила высокую оценку. Все казалось таким понятным. А теперь? Боже мой, я не слышала и не понимала ровным счетом ничего. Слушала еще и еще – и все безрезультатно. Сплошное отчаяние.

В этот момент сообщили, что Фаина Александровна ждет всех в ординаторской. Начинается ее обход.

События этого дня нанизывались, как бусы на нитку, – первый рабочий день, первый больной, первый обход.

Выхожу в коридор – навстречу шествие, отделение в полном составе: впереди Фаина Александровна, за ней хвост белых халатов, в который вплетаюсь и я.

Обход обстоятельный, в классических традициях. У каждой кровати – подробный доклад лечащего врача, затем тщательный осмотр больного. Потом разбор плана лечения или его результатов, если оно начато. Вопросы к лечащему врачу, и самые неожиданные – к любому из присутствующих, например:

– Ваше мнение, что делать дальше?

Слушать надо было внимательно. Вопросы Фаина Александровна задавала предельно конкретные. Такими должны быть и ответы. Если не знаешь, пеняй на себя. Тон резкий, почти прокурорский, но в нем было что-то из нутра идущее, из самой души. И не было обиды.

Известно, что в детстве все усваивается глубоко, прочно и на всю жизнь. А ведь это и было мое врачебное детство. Именно тогда закладывались истоки того, что получило развитие в дальнейшем.

В системе воспитания специалиста у Фаины Александровны наравне с медицинской наукой стояла любовь к больному. И поэтому я имею право сказать, каким же профессионально прекрасным было мое детство. И человечески – тоже.

В обходе участвовал мужчина средних лет, которого я не видела на утренней конференции. Подойдя, он сказал общее «Здравствуйте» с резким иностранным акцентом. Среднего роста, некрупные правильные черты лица, густые темно-каштановые волосы гладко зачесаны назад. Одежда – белый халат, весь облик – подчеркнуто-аккуратный. Фаина Александровна несколько раз обращалась к нему по ходу разбора больных. Смысл, видимо, он улавливал и отвечал, преимущественно используя латинскую терминологию. Таким образом, говоря на разных языках, они отлично понимали друг друга.

Оказалось, это один из семи врачей-военнопленных, которые работают в госпитале по специальности уже несколько лет. Его зовут доктор Кантак. Он крупный терапевт, ученик знаменитого немецкого специалиста Мюллер-Зейферта, по учебнику которого учатся все советские студенты-медики.

Обход продолжался долго. Больные производили тяжелое впечатление. Преобладающей патологией была «алиментарная дистрофия». С ней я встретилась впервые: истощение крайней степени, казалось, что желтовато-серая пергаментная кожа натянута на скелет. Выпадение зубов, волос, безразличный отсутствующий взгляд.

Потерянная и ошеломленная, я смотрела на этих больных, считая, что если не сегодня, то завтра они все наверняка умрут. И не верила своим ушам, когда врачи докладывали о положительной динамике патологического процесса у того или другого больного. Действительно, в дальнейшем я увидела, что в значительном большинстве

случаев удавалось возвращать к жизни этих, казалось бы, абсолютно безнадежных больных.

Наконец мы вошли в мою палату. Я подумала, что будет очень эффектно, если я вот так, с ходу доложу только что полученных больных. Пусть по историям болезни, но ведь я их проштудировала.

Я понимала – это была авантюра. Но рискнула. Когда Фаина Александровна сказала: «Это теперь палата нашего нового доктора – Ины Павловны, но она еще не вошла в курс дела», – я вполне уверенно заявила:

– Я могу доложить.

– Пожалуйста, – сказала Фаина Александровна каким-то странным тоном не то поощрения, не то осуждения.

Я доложила всех шестерых больных, бойко, наизусть, заглядывая в истории болезни лишь для того, чтобы назвать фамилию очередного пациента. На присутствующих это явно произвело положительное впечатление. И я почувствовала, как мне казалось, заслуженную гордость. Только на серьезном, не улыбочивом лице Фаины Александровны не дрогнул ни один мускул. Мне стало как-то неуютно.

После обхода, в ординаторской, дополнительно обсуждали нескольких больных. Фаина Александровна в прежней манере о чем-то живо говорила с доктором Кантактом. На меня она ни разу не взглянула.

Я вышла из отделения. Яркий день сменила наступающая вечерняя прохлада. Больные гуляли. Их было много. По центральной широкой дороге и по маленьким боковым тропинкам они ходили прогулочным шагом, в одиночку, парами, небольшими шеренгами, кучками стояли на обочине, молча или негромко разговаривая. Одинаковые, серые пижамы разнообразились тоном то более светлым, то темным, кое-где расцвеченные гипсовой повязкой или белой косынкой, поддерживающей сломанную руку, либо пестрым платком вокруг шеи.

Мое появление на дороге тотчас привлекло их внимание. Когда я влилась в толпу, она изменила свое движение. Идущие сзади меня не обгоняли, идущие навстречу,

как и утром, не доходя до меня, останавливались, отходили в сторону, и когда я к ним приближалась, кланялись и говорили: «Здравствуйте». Значит, это узаконенный ритуал. Кто его придумал? Они сами, или их обучили? Интересно узнать.

Мой первый рабочий день был окончен. Каким он оказался длинным и сколько событий! Настроение было праздничное, радостное. Даже колючая проволока показалась не такой ужасной. Самое главное, чего я опасалась, не подтвердилось. Медицина в госпитале не зависит от общего режима в стране. В отделении абсолютно нормальное отношение к больным.

Но для меня лично выявились две острейшие проблемы. Они требуют незамедлительного решения: чисто медицинская и язык. Они неразрывно переплетены. Полученные теоретические знания в институте требуют ежедневной практики у постели больного. А общение с больным без знания языка – невозможно. Значит, необходимо изучать язык и приобщаться к практической медицине. Но страха перед этими проблемами не возникло. Я их непременно преодолею – думала я вполне уверенно. И радовалась этой уверенности в себе. Настроение было приподнятым.

И все же в глубине души что-то давило, угнетало, царапало. Мне очень понравилась Фаина Александровна. Я даже перестала жалеть о несостоявшейся хирургии. Бывает же любовь с первого взгляда. А почему не может быть такой же дружбы? К сожалению, кажется, я ей не понравилась. Может было что-то не так в моем докладе?

Я подошла к проходной, вежливо попрощалась с вахтером и направилась домой.

Домой! Это слово прозвучало неожиданно уютно и ласково. И действительно, моя комната показалась вполне привлекательной, имеющей полное право называться «домом».

Через час подробное письмо маме было готово. О неприятном подспудном ощущении я умолчала. Заснула я мгновенно, не успев донести голову до подушки.

Проснулась внезапно: громкий голос Фаины Александровны произнес:

– От вас я этого не ожидала!

Я не сразу вернулась к действительности. Осмотрелась, поняла, что нахожусь у себя дома. Сквозь тюлевые шторы комнату наполнял ранний рассвет. На часах – около четырех.

Сообразила – это был сон: у Фаины Александровны в кабинете я держала в руках истории болезни. Ее слова, звучащие как удар, разбудили меня. Долго лежала молча, словно в оцепенении. Внезапно поняла: ей не понравилась моя выходка с докладом больных на обходе. Было ясно, что по-настоящему вникнуть в суть дела за это короткое время было невозможно. Моя авантюра была рассчитана на дешевый эффект. В отношении остальных она удалась. Детское озорство в таком серьезном деле ее конечно возмутило. Да к тому же я не ребенок, а врач. Мне стало безумно стыдно.

Заснуть, конечно, не удалось.

Задолго до 9 часов я постучала в кабинет Фаины Александровны. Вошла, когда она надевала халат. Без предисловий, очень волнуясь, я извинилась перед ней. Она внимательно посмотрела на меня своими близорукими глазами, спокойно и сухо произнесла:

– Я очень рада, что вы избавили меня от необходимости объяснять вам ваш вчерашний поступок. Это делает вам честь.

Голос звучал ровно. Лицо по-прежнему сохраняло суровое выражение.

Во второй половине этого же дня Фаина Александровна пришла ко мне в палату:

– Давайте обсудим ваших больных, – сказала она.

Подробно, логично, не торопясь, как в лучшие студенческие времена, мы разобрали каждого больного.

Через 10 дней я получила еще шесть историй болезни. Теперь я вела две палаты.

На следующий день я попросила маму прислать немецкую грамматику и две-три книги на немецком языке. Сама

же, познакомившись с Ричардом, в его Красном уголке нашла старый потрепанный русско-немецкий словарь, и начала учить слова. Сначала 5, а потом 10 в день. На это уходил вечер. А утром, в палате, я их пускала в ход.

Я не знала усталости. Весь интерес жизни сосредоточился в работе. Мне хотелось всего и сразу. Фаина Александровна уходила с работы поздно. Мне в голову не приходило уйти раньше нее. А иногда и после ее ухода оставалось море незаконченных дел.

Как быстро вдребезги разбились иллюзии. В институте нас учили: знаешь теорию – все остальное понятно, легко и просто.

Теорию я знала! А у постели больного все так запутанно, темно и непонятно. Снова и снова я смотрела, ощущала, прослушивала больного, пытаюсь разобраться, что у него болит – печень, желчный пузырь или желудок. Отличить при пневмонии влажные мелкопузырчатые хрипы от крупнопузырчатых или уловить нежный систолический шум над клапанами у больного с пороком сердца.

И бегут часы, и счета им нет. И вечер наступил давно. Ну должна же я когда-нибудь научиться хоть что-то понимать в больном человеке – думала я в отчаянии. И снова работа: аускультация, пальпация, чтение литературы.

Я значительно дольше, чем было принято, задерживалась в своих палатах. И не только тщательный осмотр больных стал этому причиной. Неукоснительным правилом на каждый день стало употребление в общении с больными 10 новых немецких слов, которые я выучивала накануне вечером.

Больные вскоре привыкли к моему частому и длительному присутствию в палате. Изменилось их поведение – стало более простым. Исчезло неизменно возникающее напряжение, когда в палату входил врач. Обычно, когда я осматривала одного больного, остальные отворачивались в противоположную сторону, либо закрывались одеялом с головой, подчеркивая стеснительность и отсутствие любопытства к происходящему. Привыкнув к моему

присутствию в палате, они постепенно стали вести себя более свободно и естественно. Они больше не прятались под одеяла, а с большим интересом наблюдали, как я измеряла давление, выслушивала легкие, ощупывала живот.

В госпитале существовал порядок: больной имел право обратиться к доктору только по поводу, касающемуся его здоровья. Во всех остальных случаях он только отвечает на вопросы. В своих палатах я нарушила это правило: разрешила им задавать мне вопросы. Во-первых, я считала это совершенно обоснованным с общечеловеческих позиций, а во-вторых, это расширяло мою практику в языке. Результаты не заставили себя долго ждать. После подробного расспроса больного и тщательного осмотра каждого зачастую начиналась беседа, например, о погоде, либо о каких-нибудь хозяйственных делах в это время года. К разговору подключались другие. Большинство больных были крестьянами различных немецких земель. И мало-помалу я начинала кое-что понимать не только в немецком языке, но и в многочисленных его диалектах.

Мама прислала современную грамматику и несколько хороших руководств по изучению языка. Наконец я по-настоящему углубилась в изучение законов и структуры языка. Стремление свободно говорить по-немецки было огромным. Оно укорачивало часы сна, которые я тратила на изучение грамматики и слов. Оно активно конкурировало с таким же стремлением к углублению профессиональных знаний.

Часто, когда бывали тяжелые больные, Фаина Александровна перед сном заходила в отделение взглянуть на них. Она это делала в любое время года, в любую погоду. И иногда, застав меня запоздно, строго, резким голосом, делала выговор. Однажды даже обещала написать маме о моем ненормальном образе жизни. Однако в суровых раскатах ее резкого голоса я улавливала и одобрительные нотки. Мое поведение было сродни ее натуре.

Через три месяца такого режима я стала кое-что понимать у постели больного и совершенно свободно общалась с больными в объеме бытовых понятий. Через 5

месяцев я так же свободно обсуждала с доктором Кантакком теоретические вопросы медицины.

Мое знание языка принесло облегчение не только врачам нашего отделения. Были сложные случаи, когда особенно важно понять больного, – и уже не Ричарда, а меня приглашали в другие корпуса. Роль переводчика мне нравилась по многим причинам. Я ближе знакомилась с другими врачами, видела больных с другой патологией. А кроме того, я любила быть в центре внимания.

Словом, эту роль я всегда исполняла охотно.

Энергии хватало на все. Через две недели я была уже хорошо знакома со всеми сотрудниками госпиталя, от начальника до рабочего, заготавливающего дрова.

Вникла и в трехступенчатый принцип строения учреждения. Во главе – начальник. У него три заместителя: первый (главный) – по лечебной части, второй – по режиму, третий – по хозяйственным вопросам. Каждый заместитель в свою очередь являлся ответственным руководителем большой службы с соответствующим штатом сотрудников. Такое распределение поразило меня. Мы были приучены, что независимо от профиля учреждения, главным был всегда заместитель по режиму. Елатомцев выстроил иерархию согласно нормальной логике. Каждый заместитель нес ответственность за свой участок. Это положение соблюдалось строго. Однако бывали случаи, слава Богу, редко, когда темперамент Елатомцева брал верх над установленным порядком. И он, минуя очередного заместителя, вмешивался в ситуацию. Этих эпизодов сотрудники очень боялись.

Столкновения между заместителями если и случались, то не выходили за рамки «рабочих споров», как любил говорить Пустынский. В основном отношения были вполне дружелюбными, что позволяло избегать конфликтов на пограничной полосе влияния, где проблемы различной значимости возникали почти ежедневно.

Я очень благодарна судьбе. С моих первых самостоятельных шагов я попала в чрезвычайно благоприятную среду: люди с уважением относились друг к другу, честно

и предано – к своей работе, сердечно, по-доброму – к больным. Я училась у них.

Коллектив принял меня тепло и дружелюбно. Понадобилось до смешного мало времени, чтобы возникло ощущение, будто с этими людьми я работаю не несколько недель, а целую вечность.

Училась всему, везде, у всех и постоянно. Все было интересно, безумно интересно. Все внове: и больные, и болезни, и медицина. И новые люди, новые отношения, успехи в немецком языке, растущая дружба с Фаиной Александровной. Радость и счастье зашкаливали. Работа с каждым днем увлекала все больше.

Маме писала через день.

Врачебный коллектив состоял из профессионально грамотных, порядочных, скромных, доброжелательных людей. Он был преимущественно женским. Была одна замужняя пара – оба врачи. У двух женщин мужья не были врачами, но работали в госпитале. Один врач был женат, жена не работала, но жила на нашей территории. Остальные 10 женщин, в том числе и я, были одинокими. Местных было только двое. Остальные – приезжие.

Жили открыто, у всех на виду. Работа и дом рядом. Ходьбы – три минуты. На работе общение в течение целого дня. Вечером – дома. Большой коридор и тонкие стены барачного здания словно созданы для продолжения такого же тесного общения. Разве может быть что-то скрытым? А главное – что скрывать? Общая работа, общая жизнь. Одинаково все, как у близнецов: зарплата, централизованное питание с одинаковым меню, и жилье в большом общежитии, у одиноких – одна комната, у женатых – две. В комнатах одинаковый набор не очень новой коричневой мебели. Коричневые стены, коричневые дощатые полы. На окнах белые занавеси в мелкий цветочек – тоже одинаковые. Цветочки, правда, разные.

Но, странное явление: никого это не трогало и не раздражало. Я, выросшая среди картин и антикварных безделушек, в первый момент удрученная увиденным, через неделю этого убожества просто не замечала.

Развлечений не было. Основой жизни была работа. Между нею и личной жизнью не было разделительной полосы. Это воспринималось как само собой разумеющееся. Никто не протестовал. Лишнее внеочередное дежурство, незапланированное поступление больных в ночное время не вызывали недовольства. Рабочий день после бессонной ночи ничем не отличался от обычного.

Самое удивительное, что в коллективе, в котором из пятнадцати врачей (не считая начальника) было только трое мужчин, не было ни ссор, ни склок. За спиной не судачили, не злословили, не сплетничали. Наушничать начальству считалось унижительным. Закадычной дружбы тоже не было. Друг к другу в гости, как правило, не ходили. На это просто не было времени. Уважительная доброжелательность, глубокое чувство собственного достоинства и уважение к себе подобным составляли основу внутренних взаимоотношений.

В общем, здесь собрались несчастные, обездоленные люди несчастного обездоленного времени. Война, голод, нищета разлучили их с близкими, выгнали с насиженных мест. У каждого из них за плечами был либо фронт, либо полевой госпиталь, потеря сына или мужа, разрушенное жилище либо бегство под угрозой оккупации. Со всех концов земли русской судьба, случайно или намеренно, загнала их в этот «медвежий угол» – степной барачный поселок в 22 километрах от железной дороги.

Они собрались, такие разные по облику, по привычкам, по характеру, по национальности в месте, где в летнюю жару растрескивается земля и нет тени, так как вокруг почти нет деревьев, а в зимнюю стужу разгулявшийся ветер, кажется, вот-вот с корнем вырвет весь барак и бросит его на растерзание взбесившейся вьюге.

Здесь, и это было счастьем, обездоленные люди получили работу, крышу над головой, стол, тепло домашнего очага, определенную уверенность в завтрашнем дне и дружеское плечо товарища.

Получили работу, состоящую в облегчении страданий и спасении жизни других людей, формальных врагов,

принесших нам неисчислимыя несчастья. Но фактически не менее несчастных, не по своей воле брошенных в кровавую пучину, обманутых и униженных, и также вырванных из домашнего уюта.

И нет весов для измерения страданий и тех и других.

И размывается линия противостояния.

Враги на полях сражений. Но пушки умолкли.

И в наступившей тишине громче и отчетливее звучат стоны, острее страдание, мучительнее безысходность.

Здесь нет победителей и нет врагов. Пролитая кровь уравнила все. Остается лишь открытая человеческая душа и Божеское в ней.

Это был удивительный коллектив.

Это были удивительные люди. Они, несомненно, отличаются от современных. Они – другие, из другой жизни. В них ощущалось глубокое чувство самоуважения. Они перенесли тяжелые испытания, они страдали, они боролись. Выстояли, и горды этим. Они скромны и уважительны. Но они знают цену пережитого – они ее заплатили сполна. Даже внешне они выглядели иначе. В них было больше скромности, больше женского достоинства, меньше суеты.

Общий тон госпиталя, конечно, задавал Елатомцев. От него шел импульс неистощимой энергии, который заражал окружающих. Всю войну он провел в полевых госпиталях, в основном в роли начальника. Бог его хранил. Он не был ни ранен, ни контужен. Дошел до Берлина. После войны вернулся в Москву. Получил свои многочисленные награды и, как он любил говорить, «бумажное назначение» в московское военное ведомство.

Отказался, но вскоре получил приказ открыть госпиталь военнопленных недалеко от большого лагеря. Содержащиеся в нем военнопленные работали на расположенных рядом угольных шахтах.

Госпиталь он развернул в предельно короткий срок. Инерционные силы крепко удерживали Елатомцева в однажды принятом направлении. По существу, госпиталь жил по законам военного времени. Умолкли тяжелые ору-

дия, затих скрежет танков. Но и в новых условиях, в госпитале уже с не военным, а гражданским коллективом, и иным контингентом больных, Елатомцев утвердил свои привычные порядки. Теперь его энергия была направлена на усовершенствование лечебного процесса. Я приехала уже в полноценно функционирующее высокопрофессиональное медицинское учреждение.

А Елатомцев продолжал искать, находить и внедрять все новое, что появлялось в медицине. Он был хозяином в полном смысле этого слова. Он знал все, что происходит в Зоне. Откуда он получал информацию о серьезных вещах и мелочах, никто так никогда и не узнал.

Режим жизни госпиталя соблюдался строго.

Регламент суток: подъем, туалет, завтрак, лечебная работа, обед, отдых, прогулка, вечерний обход, отбой – штампованно однообразен. Редко что его нарушало. Но если случалось, всегда находили виновного. Наказание – в виде дополнительного дежурства, удвоенного рабочего дня, укороченного отпуска – было неотвратимым.

Время было трудное, голодное. Люди, потерявшие все в годы войны, постепенно приходили в себя. Елатомцев это понимал, сочувствовал. И никогда не упускал возможности помочь наиболее нуждающимся сотрудникам. Это ценили. Его уважали, считали строгим, но справедливым, гнева его боялись. За глаза называли «наш начальник». И произносилось это с симпатией.

Он всегда говорил достаточно громко. При раздражении голоса не поднимал никогда. Он только увеличивал интервалы между словами, что придавало его речи угрожающий оттенок.

Благодаря его энергии в госпитале не было недостатка в лекарствах. Операционная была снабжена необходимым инструментарием и материалом. Имелась вполне приличная по тем временам клиническая лаборатория и рентгеновский кабинет. Иногда, правда, бывал дефицит рентгеновской пленки. А нужна она была всегда. Травма в общей патологии госпиталя составляла значительный процент.

Предметом особой гордости Виктора Федосеевича был 10-ый корпус. В нем жила обслуга из военнопленных. Обслуживающую бригаду Елатомцев подбирал сам – терпеливо, настойчиво, скрупулезно. К моменту моего появления она была уже вполне сформирована.

Процесс ее создания был сложным.

Вечером, в день поступления больных к нему на стол лежал список госпитализированных с указанием доверенной профессии каждого. Владимир Федорович отмечал интересующие его в данный момент, и когда больной поправлялся, приглашал его для подробной беседы. Она велась через переводчика. В его роли не однажды случалось быть и мне. Цель разговора – выяснение компетенции соответствующего специалиста. Если он находил ее подходящей, то следующим этапом был официальный запрос в Центр о больном по линии НКВД. Елатомцев никогда не брал на работу членов СС, кадровых военных, а также тех, кто воевал вблизи мест, где фашисты проводили плановое уничтожение людей. Если больной подходил и по этой линии, он не отправлял его в лагерь, а переводил в 10-ый корпус. Радость счастливого описать трудно. Ведь альтернативой был возврат в шахту, под землю, в не просыхающую и невымываемую грязь, голод и грубые окрики. И работал этот выздоровевший больной с необычным усердием и рвением, ведь отправить его в лагерь было никогда не поздно.

Во внутреннем циркуляре «Положения о военнопленных» была указана квота, согласно которой в госпиталях, в зависимости, от числа коек, начальник имел право оставить выздоровевших больных в числе обслуги. Елатомцев, создавая свою хозяйственную бригаду, совершенно не считался с квотой. В результате, трудно назвать специалиста бытового плана, которого не имелось бы в госпитале. Это приводило к тому, что в обиходе не было сломанной мебели, разбитых окон, неработающих аппаратов, стоящих часов.

В нашем 10 корпусе были плотники, слесари, строители, повара, кулинары, кровельщики, парикмахеры,

сапожники, электрики, сантехники, портные по мужской и женской одежде, санитары, подсобные рабочие. Это далеко еще не полный перечень.

Особенность подбора Елатомцевым рабочих для госпиталя состояла еще и в том, что его избранник был не только хорошим специалистом, но и имел что-то яркое, выдающееся в своей биографии. Так, например, кулинар был из лучшего берлинского ресторана, дамский портной – из фешенебельного Дома моды Мюнхена, сапожник раньше обувал нежные ножки жен венской знати. Таким же образом были подобраны и немецкие врачи. Но о них я расскажу особо.

Начальник лагеря, из которого к нам поступали больные, начальники шахт, где работали военнопленные, хотя и поддерживали с Елатомцевым дружественные отношения, периодически серьезно ссорились с ним из-за «недополучения выздоровевшей рабочей силы» и грозились написать на него жалобу в Центр.

– Знаешь, Федорыч, – сказал начальник лагеря прилюдно, заехав однажды к нам и побывав в Зоне, – пора кончать с этим безобразием.

– Я посмотрел на твоих рабочих. Откормленные, крепкие парни рубят дровишки и таскают чаны из кухни, их надо немедленно на шахту, в забой. Ты хоть мне и друг, но в Центр я все-таки напишу. Все в открытую, я тебя предупредил.

И действительно выполнил угрозу. Елатомцев ездил в Рязань. Видимо убедил высокое начальство и тактику свою не изменил.

А вскоре произошел инцидент, положивший конец всем нападкам на Елатомцева за его волюнтаризм.

В семье начальника лагеря случилась беда: его 12-летнему сынишке в глаз попало инородное тело. Самостоятельные домашние меры не помогли. Ребенок сильно страдал. Мальчика повезли в Скопин, 20 – 25 километров от лагеря. В Скопине офтальмолога не оказалось.

Ребенка отправили в Рязань. Это значительно дальше. Приехали в больницу во второй половине дня. Офталь-

молог нашелся, однако его попытка помочь оказалась тщетной. У него не было нужного инструмента, с помощью которого можно извлечь это инородное тело.

– Надо ехать в Москву, – сказал он.

Был уже вечер. Поездов на Москву больше не было. Мальчик плакал, теряя терпение. Положение казалось безвыходным.

И тут почти отчаявшегося отца вдруг осенило: у Елатомцева в госпитале есть глазник. И хотя начальник лагеря не очень верил в возможности немецкого эскулапа – выбора не было.

Так этот крупный начальник оказался у нас в роли просителя. Надо сказать, он совсем не походил на того веселого забияку, который три недели назад грозил нашему начальнику жалобой в Центр.

Елатомцев был подчеркнуто любезен. По его приказу солдат с ружьем привел в кабинет доктора Штифенхофера. Тот пришел со своим инструментарием, которым его обеспечил в свое время Елатомцев. Здесь же, в кабинете начальника, приведенный из Зоны электрик устроил необходимое освещение. Все было организовано быстро, без суеты и лишних слов. Доктор Штифенхофер очень внимательно и спокойно осмотрел мальчика. Глаз был красным, отечным, припухшие веки не смыкались. Мальчик тихо стонал. После осмотра доктор Штифенхофер сказал на латыни: инородное тело.

Поняв, что ему предлагают извлечь это инородное тело, доктор Штифенхофер кивнул в ответ. Сделал анестезию и через пятнадцать минут у него в руках оказался кусочек угля.

Начальник лагеря рассыпался в благодарностях.

Елатомцев был также вежлив. На прощание заявил:

– Вот видишь, а у тебя бы этот доктор в забое уголь добывал.

С этого момента вопрос о хозяйственном корпусе в госпитале был снят с программы.

В дальнейшем высокое лагерное начальство не раз обращалось к Елатомцеву за помощью разного рода. Мно-

го интересных эпизодов из этой области хранит история госпиталя.

Однажды заехал к нам начальник одной из шахт – хороший приятель Елатомцева, тоже участник войны.

Разговаривали, вспоминали прошлое. Гость пожаловался: остановились дорогие ему заграничные часы, подарок военного наркома. Ездил в Рязань и Москву.

– Говорят, – нужны запасные части, а их нет.

Елатомцев позвал секретаря, дал ему часы:

– Сходи, покажи нашему часовщику.

Вернулся минут через 20.

– Часовщик сказал, можно попробовать – пусть придет завтра.

Рано утром Елатомцеву сообщили, что часы готовы.

Помимо таких мастеров-умельцев имелся целый штат простых рабочих: санитаров, дворников, мойщиков посуды, заготовителей дров и др. Выздоровливающие рвались к этой работе, и сами просились на любые роли. Это была альтернатива возврата на шахту. И, надо сказать, работники они были безукоризненные. Им ничего не надо было говорить – они сами искали работы. Добросовестность, аккуратность и честность в работе были поразительными.

К жизни рабочего корпуса имел отношение заместитель начальника по хозяйственной части Гуревич Михаил Абрамович. Однако основным начальником являлся Клюсов Юрий Сергеевич – заместитель Елатомцева по режиму.

Старшим по корпусу, возложив на него непосредственную обязанность следить за распределением работ, Клюсов назначил военнопленного, также из числа выздоровевших. Его не отправили в лагерь еще из-за свободного знания русского языка. Звали его Шута.

Я приехала в госпиталь, когда роль ответственного он исполнял уже два года. Он был то ли польский немец, то ли немецкий поляк. Коренастый, небольшого роста 32-летний парень, с крепкими мускулами, юркий, подвижный брюнет с черной редеющей шевелюрой, с невыра-

зительными, бегающими глазами, кривыми ногами и громким пронзительным голосом. Неприятная улыбка искажала и без того не слишком симпатичное лицо. Его одежда отличалась от обыкновенной темной спецовки, в которую был одет весь обслуживающий персонал. Неизвестно откуда он раздобыл белую рубашку и хорошие кожаные сапоги. Рубашка всегда была белоснежной, а сапоги начищены до блеска. Он резко выделялся элегантностью на сером фоне рабочего люда. С высоко поднятой головой, он расхаживал по Зоне, отдавая приказания своим подчиненным. Однако стоило ему заметить приближающегося сотрудника госпиталя, как все его павлиньи перья разом опадали. Он даже становился ниже ростом. На лице появлялась отвратительная заискивающая улыбка, подобострастный голос произносил: «Здравствуйте». В глаза при этом смотреть избегал.

Общее впечатление от его личности у меня с первого раза сложилось отталкивающее. Он это понял и старался со мной не встречаться.

Клюсов ему явно симпатизировал. Шута это чувствовал и со своими подчиненными обращался грубо, был заносчив, не терпел возражений, любил кричать, иногда пускал руки в ход. Клюсов этому не препятствовал.

Формально в клинических корпусах Шута делать было нечего, тем не менее, он иногда в них появлялся.

Однажды я зашла в свою палату, услышав из коридора необычный шум, среди которого слышался иступленный крик Шута. При моем появлении все замолчали.

Оказалось, лежащий больной опрокинул тарелку супа, залил всю постель, смененную только вчера. Надо было вновь менять все, вплоть до матраца. Дежурная санитарка, не имея возможности объясниться с больным, позвала Шута. Вот тут-то он и разыграл роль высокого начальника бешенно крича на больного.

Я выгнала Шута и устроила разнос санитарке. А несчастного больного, после смены белья, еще долго пришлось успокаивать. Дрожа всем телом, со слезами на глазах он повторял одну и ту же фразу:

– Фрейлин доктор, я не нарочно, поверьте! Я не нарочно!

От своих коллег я узнала, что это далеко не единственный случай подобного поведения Шута, что все больные его боятся и люто ненавидят.

Мой стаж в госпитале уже измерялся многими месяцами, и я достаточно освоилась с обстановкой. Против Шута я начала активную борьбу. Однако это оказалось не так просто. Когда я публично заявила, что Шута надо отправить в лагерь – на меня набросились все. Даже врачи. Он всем был удобен своим знанием русского языка, своим угодничеством и махровым подхалимством. Очень многие пользовались его помощью переводчика в общении с больными.

К этому времени я уже достаточно свободно говорила по-немецки. И несколько раз замечала, что, исполняя роль переводчика, Шута явно искажает смысл сказанного с обеих сторон. Частично преследуя собственные интересы, а порой просто для того, чтобы посеять недовольство или устроить скандалчик. Но и этот приведенный мною аргумент не возымел действия.

На мои замечания о грубости Шута Ключов сказал:

– Он орет? Ну и что? Пусть поорет – им это полезно.

Сам он, кстати сказать, на военнопленных, тем более на больных, не орал. Но когда в его присутствии это делал Шута, он словно ничего не слышал.

В моей борьбе меня поддержала только Фаина Александровна.

В эти же дни, встретив его на улице, она своим суровым тоном заявила ему, чтобы он забыл дорогу в 13 корпус.

– Я вас там не потерплю, и вообще старайтесь не попадаться мне на глаза.

Он это учел. Не попадаться на глаза старался и мне.

Однако поведения своего не изменил. Корусть, конечно, была свойственна его натуре, и привилегированное положение, которое он завоевал ценой подхалимства, шантажа и подлости обеспечивала ему определенную

свободу действий и власть в среде его подчиненных. Поговаривали, что зеркальный блеск его сапог и белоснежность рубашки обеспечивается регулярным трудом рабочих десятого корпуса. Различными приемами он заставляет их заботиться о своем быте, но кроме различных мелких и крупных выгод, которые он извлекал такой ценой, мне всегда казалось, что в его порочной натуре присутствует неукротимое желание творить зло. Зло ради зла. Это был законченный тип садиста – полагаю, такие, как он, топили печи Освенцима. Его люто ненавидели все обитатели Зоны. И очень многие боялись. Они-то и обеспечивали его дутую популярность.

– Шута – туда, Шута – сюда! Где Шута?

Не последнюю роль играло и его подбострастное стремление помочь всем в качестве переводчика. Мне всегда казалось, что проще выучить язык, чем терпеть возле себя такого негодяя. К сожалению, мои коллеги думали иначе. Его кровожадный аппетит распространился было и на немецких врачей. Ведь документально их работа в госпитале оформлялась так же, как и всей рабочей обслуги. Но тут преграду его непомерной активности поставил сам Елатомцев.

Немецкие врачи проделали тот же путь, что и обитатели 10-го корпуса: работали в шахте под землей, в госпиталь поступили в различное время. Двое – с явлениями сердечной декомпенсации, остальные в состоянии выраженной алиментарной дистрофии, некоторые – почти умирающими.

Оставляя их в госпитале для работы по специальности, Елатомцев создал им и соответствующую обстановку. По внешнему обличию и по уровню жизни он поднял их почти до уровня наших врачей. Они жили не в общем хозяйственном корпусе, а в двух палатах 14 лечебного отделения, с возможностью выхода из него в любое время суток – больным это разрешалось только в часы прогулок. У них были светлые добротные пижамы, медицинские халаты им крахмалила прачечная, так же как и нам. Столовой корпуса они не пользовались. Еду подавали в

их комнаты. В зависимости от специальности врачи были распределены по отделениям.

Если Елатомцев проявил незаурядное чутье в подборе таких специалистов, как часовщик, парикмахер, повар, электрик и других, в компетентности оставленных им в госпитале врачей можно было не сомневаться.

Это были специалисты высокого класса. Самому молодому было 35 лет, старшему – 65. До войны четверо из них работали в научно-исследовательских учреждениях Берлина, Мюнхена, Дюзбурга, Вены – имели ученые степени. Остальные были сотрудниками больниц.

В войне участвовали пятеро – в качестве врачей в различных госпиталях. Оба пожилых – доктор Лиин и доктор Бергер не воевали – были интернированы в конце войны.

Люди одного языка, одной культуры, в последние годы и одной судьбы, они были такими разными. Начиная с внешности: худой и высокий доктор Лиин – стоматолог и маленький, кругленький доктор Штифенхофер – офтальмолог. Стоя рядом, они напоминали цирковую пару когда-то знаменитых Пата и Паташона. А между ними – пятеро остальных, не столь контрастных, но тоже очень разных и по внешности, по манере держаться, говорить, смеяться.

Самым эрудированным был доктор Кантак – терапевт. Всесторонне образованный, не только в медицине, он знал психологию, философию, литературу. Интересны были его теоретические подходы к обоснованию диагноза. Среди своих коллег он заметно отличался своей внешней элегантностью. Фаина Александровна, проработавшая с ним более двух лет, уважала и ценила его.

Второй терапевт, 64 летний доктор Бергер работал в туберкулезном отделении под руководством Екатерины Ивановны Ганеевой. Он был остроумным, веселым человеком. Врожденный оптимист, он спокойно принимал все превратности судьбы. С легкостью взялся за изучение русского языка и с такой же легкостью бросил это занятие, поняв, что одолеть его не сможет.

Екатерина Ивановна считала его хорошим врачом. У них было много общего. Сама она, такая же оптимистка, с верой смотрела в будущее. Позади остался тяжелый путь войны. Они с мужем – хирургом – были мобилизованы в первые дни. Оба направлены в прифронтовой госпиталь. Работали день и ночь, пока не случилась беда. Муж ее был в операционной, когда на госпиталь обрушилась бомбардировка. Она была в другом месте – и уцелела. Муж умер на ее глазах. Она дошла до Берлина и теперь, когда кончилась война, оказалась здесь. А под Казанью, в маленьком домике, осталась ее мать с двумя внуками. Весь свой заработок Екатерина Ивановна отправляла домой.

– Будет же когда-нибудь хорошо, – ее любимая поговорка.

Доктор Бергер, поняв содержание этой фразы, выучил ее и очень смешно произносил по-русски. Теперь они повторяли ее вдвоем.

Офтальмолог – доктор Штифенхофер был великолепным специалистом, тому имелось много свидетельств. А человек он был замкнутый, неразговорчивый, словно запертый на замок. На вопросы, лежащие за пределами его специальности, отвечал нехотя, будто сам процесс произношения слов был ему физически труден. От его коллег я узнала, что еще будучи на фронте, он получил известие о гибели всех своих близких. Они жили в небольшом городке под Дрезденом. Прямое попадание бомбы в дом, где находились родители, жена и трое детей, оставило его совершенно одиноким на этом свете. Говорят, он долго не мог понять, зачем он уцелел.

Доктор Хаазе – дерматолог. До войны защитил диссертацию. Во время войны, в полевом госпитале, какое-то время пришлось работать хирургом. Об этом вспоминает с ужасом:

– Такая масса крови.

Он общителен и разговорчив. Но о чем бы ни рассуждал – всегда кончает утверждением, что половина болезней имеет в своей основе пренебрежительное отношение людей к своей коже.

Весьма заметной фигурой среди врачей был невропатолог – доктор Мюллер-Хегеман. Его высокая, немного сутуловатая фигура часто встречалась в различных отделениях Зоны. Неврологическая симптоматика часто сопутствовала различным патологическим процессам. Его больные находились во всех корпусах.

В госпитале он пребывал в двух ипостасях. Он был еще и антифашистом. Но не таким, каких расплодилось множество среди военнопленных на Советской земле. Он стал им в Германии, при гитлеровском режиме. Был репрессирован и освобожден нашими войсками. Эрудированный, интересный собеседник – его лекции для военнопленных, еженедельно проводимые в Красном уголке, были серьезны, содержательны, интересны. Вот только русский язык давался ему с невероятным трудом. А изучал он его истово и непрерывно. Ища помощи, пристроился было ко мне. Увы, наши интересы были диаметрально противоположны. Кончилось тем, что он стал помогать мне в немецком.

По антифашистской работе доктор Мюллер-Хегеман имел помощника Фриче – парня 25 лет, который жил в хозяйственном корпусе. По этой линии своей деятельности они подчинялись Ключову. Он относился к ним по-доброму, по-товарищески. На третий год пребывания в госпитале им обоим было разрешено на два часа ежедневно выходить из Зоны без конвоя. Они отправлялись в Скопин (15 км), ходили по магазинам, покупали книги и заводили разговоры со встречными прохожими. Последние, как они рассказывали, тоже весьма охотно вступали в разговор. Вот тут-то доктор Мюллер-Хегеман и сделал существенные успехи в русском языке.

Примечательной личностью был доктор Шеффер – хирург, 35 лет, самый молодой среди своих коллег. Для «красивого мужчины» ему не хватало роста. Но смуглое, словно тронутое загаром лицо, обрамленное густой вьющейся шевелюрой, несомненно, было привлекательным. Темперамент и эмоции нередко праздновали победу над разумными суждениями. Это – в жизни. А в хирургии –

смелость и осторожность уравнивали друг друга. В школе он мечтал стать математиком. Неожиданно для себя и окружающих поступил на медицинский факультет. Увлёкся хирургией. Защитил диссертацию. И сразу попал на фронт. Все последующие годы в полевом госпитале, как он говорил сам, «оперировал и день и ночь». Здесь, в госпитале, работал активно, ответственно, с интересом. Был общителен.

Но самой яркой, колоритной фигурой среди немецких врачей был, несомненно, доктор Лиин – стоматолог. В госпиталь его привезли полуживым – из машины вынесли на руках. Стоять он не мог. Сухая пергаментная кожа желтоватого оттенка плотно обтягивала скелет этого гиганта ростом 2 м 25 см. Он не произносил ни слова. Подумали, что немой. Все решили, что он умрет через несколько часов. Но полагающиеся меры приняли.

Когда дней через десять он заговорил, окружающие услышали следующую реплику:

– Вот, ведь я говорил этому идиоту – начальнику лагеря, что при моем росте полагается двойная порция. Не послушал. И вот результат.

Позднее появились рассказы в юмористическом тоне о том, как он, работая на шахте под землей, при своем росте умудрялся переползать из одного штрека в другой.

Немного окрепнув, через своего лечащего врача он попросил аудиенции у начальника госпиталя.

Елатомцев пришел к нему. И услышал вопрос:

– У вас есть врач-стоматолог?

– Нет, – ответил Елатомцев, даже не успев удивиться.

– Я стоматолог, – произнес больной, – хочу у вас работать.

Виктор Федосеевич оглядел его, едва сдерживая улыбку. Перед ним стоял невероятной длины скелет, обтянутый кожей, ни волос, ни зубов.

– Вы сначала поправьтесь, – сказал он, – а там увидим.

– Я поправлюсь, – ответил доктор Лиин.

Был сделан запрос по социально-политической линии. Препятствий не оказалось.

Через два месяца доктор Лиин приступил к работе. В госпитале был зубо­врачебный кабинет. Им заведовала Анастасия Ивановна Лясота. Солидная женщина лет 55, жена начальника рентгеновской службы – Вар­тана Карповича Баранянц. Веселый, остроумный и обаятельный, он был антиподом своей серьезной не­улыбчивой жене. Она держалась отстраненно. В разговор вступала редко, мнения свои высказывала категорично, возражений не принимала. Ходила медленно, с гордо под­нятой головой. Любивший всегда пошутить, Елатомцев, встречая ее удив­ленный, непонимающий взгляд, замолкал.

Под ее начало и поступил темпераментный доктор Лиин. С первых дней он на­кинулся на работу, как изго­лодавшийся на пищу. В 65 лет он был неуе­мен, неисчерпаем. Уже через неделю Анастасия Ивановна заявила, что у нее нет работы – все забирает доктор Лиин.

Под огнем его темперамента изменилась сама структура их работы. Доктор Лиин уже не ждал, когда боль­ной по собственной инициативе придет в их кабинет, жалуясь на зубную боль. Он регулярно ходил по всем от­делениям, заглядывал в рот каждому больному и, при необходимости, тащил его в зубо­врачебное кресло.

Через несколько месяцев доктор Лиин вновь попро­сил аудиенции у начальника. На этот раз его привели в кабинет Елатомцева.

С порога наш энтузиаст заявил:

– Давайте заниматься протезированием зубов.

Начальник был озадачен. С одной стороны, предло­жение ему явно понравилось. Но с другой...

В госпитале для военнопленных подобное направле­ние не предусмотрено. В нескольких инстанциях различ­ного уровня придется доказывать его необходимость. Хотя он многого добивался, но каждый раз предска­зать результат было невозможно.

Предположим, он получит разрешение. А дальше? В госпитале для этого вида работ нет условий. Нет спе­циального помещения, нет оборудования и инструмен­тария, нет специальных материалов. Все надо начинать с

нуля. А главное – у Елатомцева не было уверенности, что доктор Лиин владеет методикой настолько, чтобы организовать новое дело.

Доктор Лиин ушел подавленный. Анастасия Ивановна поддержала идею. Но переубедить Елатомцева не удалось. Да, по правде говоря, она не очень старалась.

Вмешалась судьба. И ситуация в корне изменилась.

В очередной партии больных оказался молодой человек с множественными переломами костей, и нижней челюсти, в том числе. Доктор Лиин с блеском показал, на что он способен. Проведенная им репозиция и фиксация отломков и сложный режим послеоперационного ведения обеспечили полное восстановление целостности кости. Больной стал нормально питаться и говорить.

Новый раунд разговоров на тему о протезировании зубов шел уже совсем в другом ключе. Аргументы в его пользу теперь уже были неоспоримы. Елатомцев согласился.

Преодолев на разных инстанциях длинный ряд всевозможных: «нельзя», «не положено», «не предусмотрено», Елатомцев, наконец, одержал победу.

Сколько было всеобщей радости, когда открылись двери нового кабинета, и очень скоро образовалась своеобразная очередь.

Выражение лица Анастасии Ивановны стало еще более гордым, а улыбка – еще более снисходительной. А энергия доктора Лиина словно нарастала. Именно в это время неожиданно в жизнь еще раз вмешался господин Случай.

На рассвете Елатомцеву позвонили. Изменившимся голосом уже знакомый нам начальник лагеря сообщил, что от зубной боли с высокой температурой и распухшей физиономией еле дожил до утра. Просит у Виктора Федосевича разрешения показаться нашему стоматологу.

Его привезли утром, действительно еле живого. От громадного отека закрылся одноименный глаз, а рот был смещен на противоположную сторону. Анастасия Ивановна и доктор Лиин обихаживали его долго. Придя в

себя, он рассмотрел кабинет, в котором находился, и буквально обомлел. О существовании зубопротезирования в госпитале он еще не знал.

Последствия этого эпизода не замедлили сказаться. Как из рога изобилия посыпались на Елатомцева заявления, просьбы от лагерной администрации, сотрудников шахт, а далее и от местных жителей. Все они, их близкие и дальние родственники вдруг захотели полечить зубы, удобно есть и красиво улыбаться. Елатомцев отказывал всем. На пути стояла неприступная Зона.

И тогда уже не Елатомцев, а начальство лагеря и шахт, с присоединившейся к ним общественностью стало добиваться стоматологического кабинета вне Зоны.

И добились.

Кабинет был построен и начал функционировать.

И с тех пор два раза в неделю, утром, любопытная группа из шести человек (четверо в белых халатах) выходила из Зоны. Они шли по тропинке, ведущей к небольшому вновь отстроенному одноэтажному зданию рядом с жилыми корпусами: впереди полноватая с высоко поднятой головой Анастасия Ивановна, на полшага от нее тощий, сутуловатый доктор Лиин, за ними две более мелкие фигурки сестры и санитарки. Два солдата с винтовками предшествовали и замыкали процессию. Не торопясь, они направлялись в наружный кабинет зубопротезирования, где уже успели скопиться пациенты.

Было интересно наблюдать за работой этих двух таких разных людей – Анастасии Ивановны и доктора Лиина. Внимательно, сосредоточенно они делали свое дело. Все казалось очень гармоничным, словно обо всех действиях они условились заранее. А между тем, Анастасия Ивановна не знала ни слова по-немецки, равно как и доктор Лиин – по-русски. Они изобрели свой собственный язык. Мимика, неопределенные звуки различной высоты и длительности, жесты заменяли им слова. И как великолепно они понимали друг друга.

Наше общение с немецкими врачами было довольно тесным. Они регулярно присутствовали на обходах, каж-

дый в своем отделении. Невропатолога, дерматолога и окулиста часто приглашали на конкретные консультации. Все врачи, пожалуй, кроме офтальмолога, пытались изучать русский язык. К сожалению, преуспевали они мало. Поэтому я, как правило, выступала в роли переводчика.

В целом, все они были достаточно симпатичными людьми, интеллигентными, воспитанными, вполне доброжелательными. Они были одинаково подчеркнуто корректны со всеми сотрудниками – от начальника до санитарки. Но в этой корректности не было и тени подобострастия. Свое привилегированное положение, созданное Елатомцевым, они принимали с чувством собственного достоинства, считая это вполне заслуженным. Соответствующей была и манера держаться.

И действительно, в своих белоснежных накрахмаленных халатах и таких же колпачках они даже отдаленно не напоминали людей, живущих за колючей проволокой.

Однако их внутренние взаимоотношения были весьма своеобразны. При беглом взгляде со стороны в отделении, при совместном осмотре или обсуждении больных могло показаться, что это дружная компания специалистов, хорошо понимающих друг друга. В действительности это было не так.

Знание языка открыло мне истинное положение вещей: каждый из них плохо переносил остальных. Они часто ссорились. Поводом к тому обычно служила какая-нибудь бытовая мелочь. Она явно не могла быть причиной ссоры. Она лишь обнажала тлеющее раздражение.

Удивительной была, если так можно выразиться, и сама форма ссоры. Говоря друг другу обидные, иногда очень оскорбительные слова и получая такие же в ответ, никто никогда не поднимал голоса. Лица не выражали ни озлобленности, ни раздражения. Не зная языка, можно было подумать: беседуют друзья. Если столкновение двоих случалось в присутствии третьего, тот никогда не вмешивался, делая вид, что ничего не происходит. И вместе с тем, если при обсуждении больного возникал серьезный, принципиальный спор, они умели абстраги-

роваться от личного, терпеливо и уважительно выслушать мнение оппонента, в том же тоне продолжить спор или спокойно согласиться с приведенными доводами.

Слушать их научные дискуссии, понимая каждое слово, было настоящим удовольствием. Временами я была так увлечена, что забывала роль переводчика, за что мне доставалось, особенно от Фаины Александровны.

Это был удивительный, прекрасный период моей жизни. Вся жизнь состояла в работе. Работа была самой жизнью. Между ними не было границы.

Я не любила ночь. Она была помехой. Она мешала наступлению следующего дня. А я его так ждала! В этом грядущем дне столько интересного, захватывающего, яркого. Хочется, чтобы скорей наступил этот день. А ночь все тянется...

Ночи действительно стали длиннее. Приближалась осень.

Я уже совсем освоилась в своем отделении и полюбила его. Меня уже включили в список дежурных по госпиталю. Во время этих дежурств я знакомилась с другими отделениями.

Больных прибавилось. При последнем массовом поступлении в большинстве палат пришлось поставить седьмую койку. Я вела уже три палаты, т.е. имела 21 больного и очень этим гордилась.

Становлюсь как большая, совсем взрослая, – думала я

Знакомясь ближе с коллегами, я постепенно стала относиться к коллективу более персонализировано. На фоне общих добрых отношений со всеми возникали более теплые привязанности.

Первой была Екатерина Петровна Василевская, Катя. Мы очень скоро перешли на «ты». Ей было чуть больше 30 лет. Милая, приветливая, любила общество. Хороший терапевт, по-доброму относилась к больным. Своей семьи у нее не было. Свой заработок она посылала матери в Орловскую область.

Затем – Ира Батина, Вера Васильевна Андросова – начальница второго терапевтического отделения. Очень

тепло, «по-матерински», как она сама часто говорила, относилась ко мне начальница туберкулезного отделения Екатерина Ивановна Ганеева. Кокетливая, с первого взгляда легкомысленная, она обладала твердым характером и незаурядными организаторскими способностями. Ее старшая дочь была лишь на два года моложе меня, но мы стали большими друзьями.

Самой же большой моей привязанностью оставалась моя начальница – Фаина Александровна. С первой встречи эта симпатия росла и углублялась. Однако добиться дружеской взаимности оказалось совсем не просто.

Она подчеркнуто ни с кем не сближалась, держалась особняком и была очень одинока. Ее уважали, с ней считались. Все признавали, что профессионально ей не было равных. В клинических вопросах она всегда была последней инстанцией.

Но друзей у нее не было. Суровая, замкнутая, неразговорчивая – во всем, кроме судьбы больного – она отталкивала от себя людей. Была резка, прямолинейна, требовательна по высшей моральной планке. Ее боялись. Ее сторонились. Далекое не все гладко было у нее и со здоровьем. Неполомки с сердцем, постепенное падение зрения. Нередко, спрятавшись от посторонних глаз в своем кабинете, она принимала лекарства. Разговоров о своем здоровье не допускала.

Для Фаины Александровны работа была всем. Но, в отличие от меня, большая половина ее жизни осталась позади. Впереди – надвигающаяся старость, болезни, бесприютность, бездомность и тоже одиночество.

Я благодарю Бога, что под маской неприступной суровости я в свои 22 года сумела разглядеть, а скорее – почувствовать ее добрую, чуткую и очень ранимую душу.

При первом знакомстве меня поразила предложенный ею паритет.

Узнав со стороны то, о чем она умолчала, рассказывая о себе, я поняла, что весь ее облик – это инстинктивная защитная реакция от новых разочарований, обид и страданий. Она потеряла веру в людей.

Установив между нами дистанцию, она держала ее долго. Но в конце концов не могла не увидеть моего отношения к себе, не только как к учителю, но и как к человеку, не замечать моей искренней привязанности. И через несколько месяцев дверка ее души приоткрылась, но не более того.

Так мы и жили.

А потом произошел эпизод, который, видимо, и заставил Фаину Александровну, наконец, поверить в бескорыстную искренность моего отношения к ней.

С последней партией к нам в отделение, в палату, которую вела сама начальница, поступил больной 36 лет, солдат из крестьян – истощенный, с явлениями сердечной недостаточности и переломом обеих костей предплечья. В 14-ом корпусе ему наложили гипсовую повязку, а мы нашли еще и долевую пневмонию справа. Два дня активной терапии сопровождались некоторым улучшением. На третий день ему вдруг стало хуже. Был выявлен воспалительный очаг и в левом легком.

Больной находился в отдельной палате с индивидуальным постом сестры. К вечеру появилось неравномерное дыхание. В палату принесли баллон с кислородом. Мне казалось, что конец преопределен.

По поведению Фаины Александровны я поняла, что она не собирается уходить домой. На мой вопрос она просто сказала:

– Надо попробовать его вытянуть.

Я заявила, что тоже остаюсь. И осталась, несмотря на ее категорическое возражение. Тем более что видела, как днем она сама пила лекарство. Острая словесная перепалка – и она сдалась.

К середине ночи больной стал метаться, бредил, произносил бессвязные слова – я их не понимала. Фаина Александровна не выходила из палаты, и я при ней. Она несколько раз меняла лекарства, назначала новые. Шел 1947 год, антибиотиков в нашем распоряжении не было.

Светало. Я взглянула на Фаину Александровну: ее саму следовало бы подключить к баллону с кислородом.

Тишину уходящей ночи резко и пугающе нарушало хрипящее дыхание больного. Фаина Александровна сидела у его постели, периодически, словно машинально, щупая пульс. Я у ножного конца кровати. Сестра только что долила капельницу. Сколько прошло времени – сказать трудно.

Вдруг хрипение оборвалось. Я вздрогнула от ужасающей тишины.

Все кончено, – с ужасом подумала я. Взглянула на Фаину Александровну – она сидела в той же позе. Но совсем другая: с лица ушла суровая напряженность, оно было непривычно светлым. Я посмотрела на больного – серое лицо его было гладким и спокойным, кислородный шланг выпал и лежал на подушке. Дыхание было глубоким и ровным. Он спал. Его жизнь была выиграна!

Впрочем, разве это «событие»? Врач остается на ночь у постели тяжелого больного – больной выздоравливает. Обычное явление! Эпизод.

Ну а если взглянуть поглубже. Напрягаясь умственно, душевно и физически, Фаина Александровна вступила в борьбу. В эту ночь она выиграла сражение со смертью.

Она спасла человека из племени, которое еще вчера сознательно, планомерно и хладнокровно жестоко истребляло людей ее племени, в том числе ее родных.

Человек и Врач. Врач и Человек. Параллели и перпендикуляры, согласия и противоречия. Где перекресток?

Как врач, она более двух лет выполняет свой долг: «врач – не судья», и лечит больных – вчерашних врагов.

Но в высоком моральном кодексе «врач – не судья» нет статьи о самопожертвовании. Ее в эту ночь вписал не врач, а человек.

И здесь – так же, как всегда, везде и во всем: переплетение Добра и Зла. Во всем, а главное, в душе каждого из нас. Именно в ней победа дается наиболее тяжело.

Утром уже все знали, что вопреки существующему железному порядку, в Зоне ночью, без специального письменно оформленного приказа, оставались два человека. Страстный ревнитель порядка Ключов был возмущен. По

виду его и Елатомцева было ясно – он требовал от начальника санкций. Виктор Федосеевич был раздражен, но ничего не сказал. Тем более что в своем докладе дежурный врач с особо нарочитым ударением произнес:

– Больной выведен из терминального состояния и сейчас чувствует себя удовлетворительно.

Инцидент был исчерпан.

Именно с этого события Фаина Александровна повернулась ко мне совершенно другой, казалось, ей не свойственной, стороной: добрым, доступным человеком, в котором порой сквозило даже что-то ласковое и теплое.

Я поняла, что она мне поверила. Мы стали друзьями.

Вскоре, когда въезд и выезд из Москвы стал совсем беспрепятственным, ко мне приехала мама. Это была радость без меры. Между мамой и Фаиной Александровной сразу возникли теплые дружеские отношения. Они продолжались и тогда, когда сначала Фаина Александровна, а затем и я, покинули госпиталь.

Но это будет потом, далеко потом. А тогда в госпитале каждый день воспринимался как особенный. Он приносил так много нового, во всем надо было разобраться.

Своих больных я осматривала каждый день, каждого и очень подробно. Я садилась на койку, сначала задавала вопросы о прошедшей ночи. Если ответов не понимала, просила говорить медленнее. А потом мои обходы превратились в длинные беседы. Больные перестали стесняться. И полились рассказы не только о здоровье, но и о жизни. Началось с парня лет 30, выздоравливающего от тяжелейшего истощения.

Он вдруг, ни с того ни с сего, громко, на всю палату сказал:

– А знаете, фрейлин доктор, в день, когда меня призывали, моя жена родила двух мальчиков. Попросил у начальства отсрочку, не дали, и так и ушел, их не увидев, – и заплакал.

И, постепенно один за другим, они стали делиться со мной своим прошлым. Но как мало среди этих рассказов было веселого, радостного.

Между тем, работа захватывала все больше. Обходы Фаины Александровны, ее клинические разборы, проводимые каждую среду, способствовали моей зрелости.

Скорее даже не зрелости, а способности думать более широко и углубленно. Этому помогал и доктор Кантак, внося в эти разборы много живого и интересного с теоретических позиций. В значительной степени помогало и мое все более углубляющееся знание немецкого.

Прекрасно помню, как в мой первый рабочий день, я заморожено слушала, как Фаина Александровна и доктор Кантак вели подобное обсуждение. Оба говорят на разных языках. Фаина Александровна знает несколько простых обиходных немецких слов, доктор Кантак – столько же русских. Латынь была единственной ниточкой, за которую они оба крепко держались. Не горячась, они спорили. Каждый аргументировал свою позицию, для присутствующих трудно воспринимаемую. А они прекрасно понимали друг друга.

Я вслушивалась в этот профессиональный разговор – речь шла о сложном предмете, недостаточности печени, – и думала о том, что такое возможно только в кругу крупных специалистов, каковыми они оба и были.

Заговорив по-немецки, я принесла большую пользу отделению. Теперь в подобном разговоре могли принимать участие все врачи корпуса. А я, переводя их научные споры, «умнела у себя на глазах». Знание языка расширило возможности моего общения с доктором Кантаком. Он стал изредка заходить в ординаторскую, когда я записывала истории болезни. Говорили о наших больных, он много рассказывал о личных наблюдениях, о своем учителе Мюллер-Зайферт. В ординаторской была трансляционная радиоточка. Я люблю работать под музыку. Однажды, когда вошел доктор Кантак, передавали песню Сольвейг. Он остановился и спросил: «Что это передают?» Я ответила. По выражению его лица я поняла, что это было не удовлетворение собственной любознательности, а маленький экзамен. Он был очень доволен, что я его выдержала. Мы заговорили о музыке. Однажды на

своим столе я нашла три хиленькие ромашки – пучочек выглядел очень трогательно. Откуда они взялись? Ведь в Зоне даже травка была тощая.

Елатомцев, вопреки моему стремлению к хирургии, направил меня «на воспитание» к Фаине Александровне. Очень скоро я оценила его мудрое решение. Именно она открыла во мне чувство глубокого уважения к больному, умение сострадать, и как первую ответную реакцию – стремление помочь. Причем, Фаина Александровна никогда ничему не учила в общепринятом понимании этого слова. Она просто жила и действовала по определенным законам морали. Действовала так, потому что иначе не могла. Отдавала себя всю работе, больному человеку, кто бы он ни был, потому, что по иному не умела. У этого истока началась моя профессия, тернистый путь врача.

Первые учителя – Фаина Александровна и доктор Кантак.

Путь был долгим – длиной в пятьдесят с лишним лет.

Были другие начала и другие учителя – академики, профессора, крупные ученые.

Но любовь к больному и науке заложили те – первые. Потом были уже собственные ученики.

Под нарастающей толщей прожитых лет не меркнет образ первых учителей. Он так же ясен и светел.

Спасибо им.

Строго размеренную жизнь госпиталя регулярно нарушали два события: поступление больных из лагеря и возвращение в лагерь прошедших курс лечения.

Транспортом служили громадные крытые машины – фуры. Их в обоих случаях предоставлял лагерь.

Оба события были одинаково драматичны.

Основная трудность выписки больных состояла в том, что они не хотели уходить из госпиталя. Лагерь, шахта, работа, в большинстве случаев под землей, приводили в ужас. После пребывания в госпитале лагерная жизнь казалась еще страшнее и безысходнее. У каждого рождалось желание хоть на немного, даже на один день, отодвинуть неотвратимое.

Большинство впадало в депрессию. Некоторые прибегали к различным уловкам, которые быстро становились очевидными. К санкциям мы не прибегали. С каждым вели «разъяснительную» беседу.

Наступал день – и неотвратимое свершалось. Внешне спокойные, они выстраивались у проходной. Снаружи непосредственно к проходной подъезжала машина. По одному выходили из Зоны, в окружении конвоя садились в машину и уезжали.

Лишь один раз случился эпизод, не укладывающийся в вышеописанную схему.

Больной 32 лет поступил в тяжелом состоянии с декомпенсацией сердечной деятельности (периферические отеки, асцит). Доставлен на носилках. Сын деревенского учителя. Собирался поступить в институт. Не успел. Мобилизован с начала войны. Попал в плен 3 года назад.

За два месяца лечения удалось получить эффект полной компенсации и практически выздоровления. С момента поступления он с ужасом говорил о необходимости при выздоровлении возвращаться в лагерь. С улучшением его состояния эти слова звучали все чаще.

В госпитале он пролежал около 3 месяцев. Вполне здоровому и окрепшему, ему объявили о дне выписки. В ответ он не произнес ни слова. Пошел в палату, лег в постель и больше не встал. Через некоторое время начался потрясающий озноб, температура поднялась выше 38°. С ознобом справились через несколько часов. Больной не пил и не ел. Ночью несколько раз больные, его соседи, вызывали к нему дежурного врача.

А на другой день его состояние было примерно таким, как при поступлении.

Ни о какой выписке не могло быть и речи. В тот же день Пустынский пригласил в кабинет всех врачей – 15 русских и 7 немецких. Я была переводчиком. Обсуждали необыкновенное клиническое наблюдение. Выступали все. Ни один из присутствующих ничего подобного из своей практики вспомнить не мог. Обсудили предполагаемый патогенез.

Заклучала Фаина Александровна. Слово стресс в то время еще не имело хождения в медицинском лексиконе. Поэтому все было сведено к непредсказуемой реакции нервной системы.

Совершенно иной была картина поступления больных из лагеря. Это всегда аврал. Когда на нашей территории появляется знакомая машина, а иногда и две, причем почти всегда с опозданием на час-другой, мне хочется крикнуть, как на военном корабле: «Свистать всех наверх». Прием больных неизменно требует участия многих людей.

Но свистать не надо. Начальник, как талантливый режиссер, уже давно до мельчайших подробностей разработал все четыре акта этого многопланового действия: разгрузка, санобработка, транспортировка в Зону, размещение по палатам. Каждый участник этого процесса прекрасно знает свою роль и функционирует, как автомат.

Появление знакомой фуры на нашей территории – это сигнал, состояние «готовности» переходит в состояние «действие».

Машина подъезжает к санпропускнику. Он расположен на небольшом пригорке, метрах в ста от Зоны, т. е. на свободной земле. Конвой образует род каре, в центре которого машина с больными. Здесь же бригады из корпуса обслуги, участвующие в приеме. Фура широко раскрыта. Словкой осторожностью хорошо тренированные санитары снимают носилки. Истощенных, резко ослабленных больных выносят на руках.

Никаких указаний, никто не командует – работа идет в хорошем темпе, в полном молчании. Кое-кто из больных покрепче пытается сам спуститься по небольшой приставной лесенке, но ему не дают – слишком медлителен, нарушается ритм работы. Ловкие руки подхватывают смельчака и ставят на землю.

Ответственные за прием больных – дежурный врач и старшая сестра госпиталя Мария Земскова. Их роль – осмотр и распределение больных по корпусам, оформление медицинской документации. Здесь же присутству-

ют оба заместителя, по лечебной части и режиму. Переводчик тоже здесь. У каждого свои обязанности.

Больных размещают в предбаннике.

Взгляд на эту темную, почти черную массу неподвижно сидящих людей вызывал содрогание. В землисто-серых и черных заношенных куртках, засаленных бушлатах, из-под которых редко выглядывало серо-грязное белье, а у большинства надетых на голое тело, в таких же брюках и грязных, часто без шнурков, башмаках, надетых на босу ногу, лежали на носилках и сидели на лавках, прислоняясь к стене, молчаливые люди. На некоторых имелись транспортные шины и мелькали серо-грязные повязки. Каждый в заскорузлых руках с черными ногтями держал чем-то наполненный такой же грязный мешочек, либо сумочку, либо узлом завязанный носовой платок. Густо заросшие, давно не бритые и не стриженные, с впалыми щеками, землистым цветом кожи, они утратили свою индивидуальность. Все казались одного возраста и на одно лицо. Эту страшную одинаковость усиливали безразличные, устремленные в одну точку глаза: они ничего не улавливали из окружающей обстановки. Она не вызывала у них никакого интереса. У некоторых глаза были закрыты. Никто не жаловался, не задавал вопросов, ничего не просил.

А процедура приема тем временем продолжается.

И вот уже вымытые, побритые, с подстриженными волосами и ногтями, одетые в чистое белье, старенькие, но чистые пижамы – они опять вместе, в другом, «чистом» зале.

Метаморфоза потрясает. Это уже не однородно страшная безликая масса. Они совсем разные. Есть молодые и старые, есть брюнеты, блондины, много седых и совсем мало рыжих. Проявился и интеллект: основная масса – это простые крестьяне, однако, среди них мелькают и вполне интеллигентные лица. Можно пофантазировать: учитель, инженер, а вон тот похож на ученого.

Но странно одно: в сравнении с предыдущим положением, попав в другое измерение, они все также молчали-

во-безучастны, все так же неподвижен взгляд, словно не замечающий окружающего. А на некоторых лицах – тупое недоумение: им непонятно, что происходит.

Конечно, переступив порог госпиталя, эти люди не избавились от своих болезней – они по-прежнему страдают. Но как изменилась общая обстановка! А они словно этого не замечают. Странно и непонятно.

Следующий этап – «бросок по вольной земле». Сто метров – от санпропускника до проходной в Зону ничем не огражденного пространства.

Солдаты конвоя, построены с интервалом в три шага, в шахматном порядке двумя противостоящими шеренгами, образуют прямой свободный коридор. Летом все проходит гладко и быстро. Зимой сложнее – теплые бушлаты и валенки затрудняют передвижение. Кроме того, их как всегда не хватает.

Проходная – это самостоятельная республика в государстве. Законы, порядки, руководитель – свои. Проверка по личным делам при первом приеме для них недостаточна. Они проверяют заново по своим спискам: больной называет фамилию, имя, год рождения.

И вот все в Зоне. Размещены по корпусам в зависимости от характера заболевания. Здесь их ждут врачи. Присутствие начальника обязательно. Завтра, на утренней конференции, независимо от того, когда поступил больной – днем, вечером, ночью – он, начальник, обязан доложить о каждом, указав ориентировочный диагноз.

Наконец, больной уложен в кровать, осмотрен лечащим врачом, сделаны соответствующие назначения.

Чистая постель, чистая палата, сквозь чистое оконное стекло видно небо. Но новичок по-прежнему ничего не замечает. Он молчалив, безучастен, на вопросы врача отвечает с видимым напряжением. Вопросы соседей в большинстве случаев оставляет без ответа. И состояние это длится день, два, иногда дольше. Нужно время, так же как глыбе льда растаять под лучами скупого солнца, чтобы больной заинтересовался окружающим. С огромным трудом он включается в нормальную жизнь.

Почему это происходит? – спрашивала я себя. Должна же быть причина этой апатии, наблюдаемой почти в ста процентах случаев?

Только овладев языком, я нашла этому объяснение. По кусочкам складывала отдельные обрывочные замечания, реплики больных, скупые ответы и объяснения, а иногда и откровенные признания на прямо поставленный вопрос. Разговаривала с молодыми и старыми, с простыми солдатами и с интеллигентными больными, пока не сложилась вполне убедительная картина.

Оказалось, что причина такой парадоксальной реакции больных обусловлена крутыми поворотами всей предшествующей жизни, включая войну, плен, болезнь. И как результат: они не верят!

Не верят, что после всех несчастий, унижений, потерь, начавшихся с войной смертей, поражений, предательств, страхов, ужасов, разочарования, затем плена с его новыми унижениями, постоянным страхом физического уничтожения, непосильным трудом, утратой здоровья и новыми страданиями от физического бессилия – что-то может измениться. Истощенные физически и опустошенные душевно, они не могут представить себе, что существует место на земле, на чужой земле, где произносятся нормальные человеческие слова, где кто-то, тоже совершенно чужой, в какой-то мере заинтересован в твоём здоровье, в твоей жизни. Где тебя ждут, принимают, лечат и проявляют заботу.

Их опыт подсказывает, что такого в сегодняшнем мире быть не может. Обольщаться не имеет смысла. А все, что они встретили в госпитале, это не больше чем обыкновенная мистификация. Коварный ход расчетливого обмана. Изощренный прием перед новыми, более ухищренными унижениями.

Способов борьбы нет, и единственная защитная реакция – это уйти в себя, отгородиться от всей фальши и обмана.

Время идет. Факты, действительность говорят свое. Ничего ужасного не происходит. И медленно, очень мед-

ленно больной начинает отходить от угрожающего фантома. Приходит понимание реальности. Этой трансформации восприятия помогают и немецкие врачи. Но главный фактор – прочно установившийся уклад жизни госпиталя: активное лечение, доброжелательное отношение персонала, безукоризненная чистота и строгий режим. И понимает больной, что здесь его спасение, и всем своим существом включается в процесс выздоровления. И диву даешься – сколько резервов дал Бог человеку в борьбе за жизнь. Где скрыты эти невероятно мощные силы, которые вдруг высвобождаются и вступают в бой.

Только увидев весь этот процесс своими глазами, можно поверить, что он действительно существует. До сих пор не могу забыть свое первое участие в приеме поступающих больных. Войдя в помещение санпропускника, я вдруг увидела всю группу только что снятых с машины пациентов. Это был шок.

Зачем же их привезли, – в ужасе подумала я. Разве им можно помочь? Это уже полутрупы. И все мое существо пронизал неопишуемый страх.

Вскоре я убедилась – помочь можно.

И помогали, и очень многих вылечивали. И вполне трудоспособными возвращали обратно в лагерь.

Кстати, вылечили парня с панарицием, случай, о котором следует рассказать. Крепкий парень двадцати девяти лет поступил в госпиталь с панарицием недельной давности. Воспаленный палец на шарообразной кисти, малинового цвета, похож на грушу среднего размера, а вся рука от кисти до плеча вдвое толще другой. В подмышке группа увеличенных лимфатических узлов с началом распада, постоянная температура свыше тридцати восьми градусов в течение трех последних дней. И резкие боли. В этот же день оперируем: широкие разрезы всех затронутых зон и наводнения жидкостями. И вылечили, вылечили без антибиотиков.

Разве это не чудо?

Ведь в нашем тогдашнем арсенале самыми мощными средствами были: белый и красный стрептоцид против

всех видов воспалительного процесса; как укрепляющее средство – витамины В и С, переливание крови и плазмы; рыбий жир для лечения туберкулеза. При самых тяжелых травмах – бедра и таза – кокситная гипсовая повязка сроком на шесть месяцев. И больные выздоравливали, и процент их был в ряде случаев достаточно высоким.

Сегодня это кажется чудом значительно большим, чем 50 лет тому назад.

Наблюдая за больными в процессе лечения, разговаривая с ними на эти темы, вместе оценивая результаты терапии, мне удалось подметить весьма любопытную особенность. Реакция на лечение наступает неравномерно. В большинстве случаев в первой половине курса она наиболее активна, результаты заметны, настроение больного приподнятое. Он активно помогает врачу. И вдруг на каком-то этапе, чаще к концу курса лечения, темп нарастания положительных сдвигов явно снижается, активность больного падает. Эта закономерность в зависимости от возраста больных и их исходного состояния, побуждала попробовать найти причину.

Попав в госпиталь, присмотревшись к окружающему, и поверив, что здесь все настоящее, без какого-либо подвоха, больной психологически и поведенчески активно включается в процесс лечения. Он терпелив, редко жалуется, охотно принимает даже болезненные процедуры. Тем самым помогает врачу. Состояние постепенно улучшается, больной окрылен. Но скоро начинает понимать, что путь выздоровления в своем конце имеет неизбежный заключительный этап – возвращение в лагерь. В этот кромешный ад. Снова шахта, работа в подземелье, грязь, голод и унижения. Снова беспросветная лагерная жизнь, из которой его вырвала болезнь. Эти мысли возникают все чаще – больной впадает в уныние, в ряде случаев переходящее в депрессию.

В итоге все это, в той или иной степени, отрицательно влияет на эффективность лечения. Естественно, далеко не в каждом случае можно проследить такую чет-

кую последовательность. Однако если графически изобразить суммарный темп выздоровления, прослеженный у большого числа больных, оказывается, что в первой половине курса он заметно выше, чем во второй.

Немцы по своей природе инициативны и трудолюбивы. Эти черты отчетливо просматриваются в кольце двойного прессинга: несвобода плюс болезнь. Улучшение самочувствия у большинства больных вызывает желание искать и найти себе применение. А заняться практически нечем. Трудотерапии в госпитале не существовало, книг на немецком языке не было. Больные с охотой ходили в Красный уголок, слушать доклады Ричарда о преимуществах социализма и чтения статей из специальной, выпускаемой в СССР, немецкой газеты. Но такие собрания бывали максимум 2 – 3 раза в неделю.

И все-таки в большинстве выздоравливающие находили себе какие-то занятия. Прежде всего, это была уборка в корпусе и на территории Зоны, особенно в осеннее и зимнее время. Помогали в прачечной, посудомоечной и на кухне, где, несомненно, перепадало что-нибудь съестное. И хотя наш хозяйственный корпус вполне справлялся со своими обязанностями, добровольческая помощь принималась охотно.

Процветали и так называемые «художественные промыслы».

Так, например, один больной, надолго задержавшийся в госпитале в связи с осложненным переломом бедра, из неизвестно где собранных прутьев плел изумительные по красоте корзиночки. Другой – из кусочков дерева простым перочинным ножом вырезал целую армию, от солдата до генерала, в полном обмундировании. Очень симпатичный юноша Хане, из интернированных, которого мы с большим трудом спасли от алиментарной дистрофии, работая в столярной мастерской, научился выделывать из цельного куска дерева оригинальные, очень изящные круглые шкатулки с причудливыми крышками.

Были и художники, рисовали, как правило, карандашом.

Самым выдающимся среди всей этой «художественной братии» был 49-летний Фриц Флейшхауэр. До войны занимался коммерцией. В плену уже несколько лет. Работал в шахте, к нам попал в связи с тяжелой двусторонней пневмонией. Рисовать стал в плену.

Это был действительно поздно открывшийся талант. Его цветы и пейзажи вызывали всеобщее восхищение. Во всех ординаторских висели его работы.

Когда однажды мне удалось съездить домой в Москву, я привезла ему коробку акварельных красок и несколько кистей. Этот день он считал праздником.

Список творческих натур можно продолжать долго. Но их художественное творчество, каким бы оно ни было, кончалось с выздоровлением.

Наступал роковой день. На нашей территории появлялась ненавистная фура. Она забирала их в свою громадную пасть и увозила в лагерь.

Мои отношения с больными вполне подходят под определение «дружеские». Я охотно вступала с ними в беседу на самые разнообразные темы, далеко выходящие за стандартные рамки врач – больной. Военнопленному не рекомендовалось первому вступать в разговор с врачом, если вопрос не касался медицины. Поэтому беседу всегда начинала я. Благодаря этим беседам я научилась понимать диалекты, которыми пользовались крестьяне различных немецких земель. Простые люди охотно делились со мной своими воспоминаниями о довоенной жизни, рассказывали о своем доме, семье, хозяйстве. С интеллигентными больными речь могла идти о литературе, прочитанных книгах, об искусстве.

Две темы я категорически отнесла к «запретным». Я никогда не говорила с ними о войне и о политике. Скоро я заметила, что и больные сами понимали неуместность этих разговоров.

За все три года было лишь одно исключение. Один трагический случай, о котором стоит рассказать.

В одной партии поступивших из лагеря был больной, 35-летний внешне крепкий и красивый мужчина. Он рез-

ко контрастировал с остальными «полуживыми» больными. В сопровождающей медицинской документации стояло: «Диагноз – бессонница, не спит 15 дней».

Больного поместили в одно из терапевтических отделений. Он был совершенно спокоен, никаких жалоб, кроме невозможности заснуть, не предъявлял. Невропатолог, доктор Мюллер-Хегеман поставил диагноз что-то вроде «нервного расстройства», или «нервного переутомления», и начал лечение. В течение нескольких дней на утренней конференции дежурный врач докладывал, что больной не спит. Собрали консилиум, добавили каких-то лекарств.

Пустынский навещал его ежедневно. Спустя немногим больше недели доложили, что больной проспал более полутора часов. И эта тема выпала из программы утренних конференций.

Примерно через месяц после его поступления я, как дежурный врач, делала обычный вечерний обход.

И тут я его увидела впервые. Он был адекватен, правильно отвечал на вопросы. К этому времени он уже спал по три часа за ночь и жалоб не предъявлял. Очень удивилась моему немецкому языку. Ему явно захотелось поговорить с русским доктором. Начал рассказ о себе скороговоркой, торопясь, с постепенно нарастающим волнением. Ему 35 лет, он инженер, женат, имеет сына, о семье ничего не знает, на войне более 4 лет, в плен попал под Сталинградом. Это слово он произнес очень четко, без акцента.

Я прервала его, сказав, что должна продолжать обход, пообещала непременно зайти на днях, чтобы дослушать его рассказ. И ушла.

Меня позвали к нему в половине четвертого утра. По словам сестры, он после моего ухода долго лежал тихо, ей казалось, что задремал. Прошло несколько часов. Вдруг – очнулся, позвал сестру и почти приказным тоном сказал:

– Пригласите ко мне доктора, который говорит по-немецки!

Сестра ответила, что не видит в этом необходимости. Он раздраженно поднял голос – начал кричать, настаивать на своем.

В госпитале никогда ничего подобного не случилось. Сестра с испугом прибежала ко мне.

Когда я вошла в палату, внешне он казался вполне спокойным. И вдруг:

– Доктор, вы русская? – тон звучал, как допрос. Машинально я ответила: «Да». Он посмотрел мне прямо в глаза:

– Я хочу рассказать вам про Сталинград. Вы еще молоды, этого не знаете, – он уже говорил громко и возбужденно, – мой рассказ передадите внукам!

Это уже был почти крик. Уговоры были бесполезны. Он слышал только себя. Распорядившись сделать повторный успокоительный укол, который он, кстати, даже не заметил, я села к его постели. Двое больных на соседних койках давно проснулись и боязливо выглядывали из-под одеяла.

Пишу эти строки и поражаюсь, до чего же я была безрассудной: ведь тогда мне и в голову не пришло, что можно, и, безусловно, нужно, позвать старшего, заведующего этим отделением, не говоря уж о главном враче. Случай ведь был эксклюзивный!

Нет! Я все взяла на себя.

А когда на следующее утро на конференции я докладывала о случившемся, и меня об этом напрямую спросил начальник, я с некоторым недоумением ответила вопросом на вопрос:

– А что, Виктор Федосеевич, вы считаете, что я неправильно действовала?

Думаю, что аудитория была в легком шоке, но все молчали. А начальник со своим неизменным чувством юмора повернулся к Пустынскому и сказал, то ли хваля, то ли порицая:

– Вот, Сергей Дмитриевич какая молодежь растет, не то что мы с тобой.

То, что больной выкрикивал, «выбрасывал» из своей груди, из своего разрывающегося сердца – передать не-

возможно. Его бледное лицо покрылось красными пятнами. Широко раскрытые, с пугающим блеском глаза ничего не видели вокруг. Он весь был снова там, где с неба сплошным, не прекращающимся потоком лилось пламя, где таким же непрерывным потоком лилась кровь. Она смешивалась с землей, и, принимая огонь, воспламенялась сама. Свистящее и бушующее пламя сливалось со стоном и скрежетом металла. Людей словно не существовало. Действовали могучие злые чудовища. Совершенно очевидно, что человек не может создать подобного.

Все вместе взятое: метущийся человек с горящими глазами, ярко нарисованная им картина, ощущение мистического ужаса, который я испытывала, слушая и представляя это, лишало действительность реальности. Больной вскочил с постели, продолжая с жаром жестикулировать, а я мучительно думала:

– Ну когда же наконец, подействует лекарство? Должно же оно подействовать.

Ошеломленная сестра, машинально ухватившись за спинку кровати, приоткрыв рот, застыла в этой позе.

Через полчаса голос больного стал терять свою силу, между словами появились длинные паузы. Взор погас, голос перешел на шепот и затих.

Вдруг он вздрогнул и, взглянув мне в глаза, совершенно отчетливо, словно в раздумье, спокойно произнес:

– А почему среди всего этого уцелел я – понять невозможно.

Затем голова его упала на подушку, и наступила тишина. Пульс был ровный, давление нормальное, дыхание глубокое, на лице – печать спокойствия. Он спал.

Я отправилась в свой корпус.

Как я узнала потом, к середине следующего дня больной перестал узнавать окружающих, вскоре потерял сознание и умер.

О Сталинградском сражении сняты сотни километров документальных и игровых лент, написаны бесчисленные тома художественной литературы и научных исследова-

дований. Прочитав сотни страниц и пересмотрев километры кинолент, я осмелюсь утверждать: ни одному художнику, писателю или ученому не удалось воспроизвести картину этого адского переплетения столь же ярко и ошеломительно, как это сделал полусумасшедший немецкий солдат в ночь моего незабываемого дежурства.

Если трудолюбие – генетически обусловленное свойство характера, то я его унаследовала от папы. Его интересы были многогранны, а познания глубоки. Мне всегда казалось, что папа умеет и знает все. Но трудолюбива ли я? Для меня самой это было не совсем ясно. Истинное трудолюбие – это, по-моему, любовь к труду вообще, любовь к труду как понятию, к труду даже не совсем интересному и приятному. Меня же захватила и совершенно околдовала моя профессиональная деятельность. Думаю, что это была скорее любовь к своей специальности. Она явно оказалась в ущерб другой работе, например, устройству быта. Букет сирени на стене, встречая меня с порога, обдавал радостью. Ко всем остальным деталям обстановки я оставалась совершенно равнодушной. В этом всепоглощающем, бурном потоке работы меня даже перестали интересовать туалеты. Я вполне обходилась тремя платьями – они годились на все случаи жизни.

Маме я по-прежнему через день посылала открытки с коротким описанием мелких и крупных событий своей жизни. Неизменно получая ласковые, нежные письма, я очень тосковала по маме. Ведь это было наше первое такое длительное расставание. На каждом шагу возникали трудные вопросы, сложные жизненные ситуации, а посоветоваться было не с кем. Письма в этом смысле мало помогали.

Наступила ветреная, холодная и дождливая осень. Приближалась моя первая зима в госпитале, особенно суровая в этой безлесной полосе. Разбушевавшиеся на огромных просторах бураны заставляли все живое спасаться в укрытиях.

Как ни увлечена я была работой, когда холода стали особенно сильными, я все-таки вспомнила, что у меня нет

зимнего пальто. Старая кацавейка с небольшим каракульчовым воротником, в которой я ходила последнюю студенческую зиму, не только совершенно потеряла приличный вид, но, главное, перестала греть. Беспокоила угроза простуды, за которой у меня, как правило, следовало воспаление легких. Мама все больше волновалась по этому поводу, и мне нечем было ее успокоить.

И вдруг выход нашелся. Нет, это был не выход, это было чудо.

Несколько месяцев назад в госпиталь поступила пожилая, очень милая медицинская сестра. Ее взрослая дочь была принята на должность машинистки. Их поселили в мой корпус – мы стали соседями. Медсестра часто обращалась ко мне за каким-нибудь советом. Увидев мое зимнее одеяние, она предложила мне отрез чудесного старинного драпа красивого коричневого цвета, необыкновенной мягкости. Я купила этот отрез.

В течение нескольких дней наш классный берлинский портной сшил мне роскошное зимнее пальто.

В учреждении, расположенном вдали от всяких дорог, где сотрудники живут на той же территории, скудность впечатлений, поступающих извне, обостряет интерес к внутренним событиям.

Пошив моего пальто оказался предметом всеобщего внимания. А мое появление в нем, таком стильном и элегантном, стало чуть ли не праздником. Больше всех радовалась Фаина Александровна. Обитатели Зоны тоже не остались в стороне. Не рискуя что-либо высказать, больные смотрели на меня восхищенным взглядом. А немецкие врачи не скупались на комплименты.

Зима была холодная, ветреная и снежная. Но благодаря порядкам и строгой дисциплине, установленными Еламцевым, госпиталь не страдал от ее суровых нападков. Во всех корпусах – жилых и лечебных – было тепло. В лекарственных и продуктовых поставках перебоев не было. Режим работы не зависел от сезона и времени года.

Я уже свободно говорила, а иногда даже думала на немецком языке. Мои успехи в языке приводили всех в изум-

ление. Хотя никакого чуда не было: ничего нет легче, как изучать иностранный язык в среде на нем говорящих.

Два эпизода дали мне самой понять, что я действительно овладела немецкой разговорной речью.

Я уже года полтора работала в госпитале. Однажды, принимая по долгу дежурного врача партию больных, я услышала, как один из вновь прибывших, указывая на меня, спросил другого:

– Как ты думаешь, кто она?

– Полагаю, медсестра из интернированных, – последовал ответ.

Это было большой победой.

Она дополнилась другим примечательным событием.

Близилось 8 марта – Международный женский день. Как всегда, торжественный доклад для больных в Красном уголке готовился делать Ричард. Накануне вечером он вдруг постучал в мою дверь. Я только что вернулась домой. У него был непривычно ласковый тон и просящий вид. Просьба была потрясающе неожиданной: он чувствовал себя совершенно простуженным и просил вместо него завтра в Красном уголке сделать доклад о международном женском дне. Я была ошеломлена: во-первых, вести разговор на иностранном языке – это одно, а говорить с трибуны – это совершенно другое. Я не была уверена, что готова для этой роли. А во-вторых, это в той или иной мере – политическая акция. А к этому я была готова еще меньше. Но была и третья сторона – мне вдруг ужасно захотелось попробовать и этот лакомый кусочек.

И я рискнула. Получила от Ричарда инструкцию, что и в каком стиле надо говорить, и подготовилась.

На другой день, в три часа, в Красном уголке не было ни одного свободного места. О празднике извещало развернутое красное знамя. Я встала на его фоне в темно-сером скромном платье и низеньких черных сапожках. Светлым пятном выделялись только волосы. В зале стало очень тихо. Есть такое выражение «звенящая тишина» – она была именно такой. Немцы – дисциплинированный народ.

Я рассказала о Кларе Цеткин, о ее деятельности, о силе и твердости женского характера. Далее – о советской женщине, ее роли и значении в нашей стране.

Когда я кончила, аплодисменты разорвали зал. Ричард похвалил, сказав, что ему таких оваций никогда не устраивали. А больные стоя улыбались и хлопали. Конечно, не Кларе Цеткин и празднику, до которых им не было дела. Они аплодировали своему доктору, пусть молодому и неопытному, но выучившему из уважения к ним их язык, чтобы лучше их понять, а значит – и помочь.

Весна наступила рано – бурная, веселая. А я огорчилась, мое чудесное пальто пришлось спрятать в шкаф.

Запели соловьи, и совсем незаметно наступило 17 июня. Об этом вспомнила Фаина Александровна и поздравила меня:

– Год назад – ваш первый рабочий день.

Было тепло и трогательно. Мы выходили с утренней конференции. Поздравили и остальные. Елатомцев, поняв, в чем дело, насмешливо произнес:

– Конечно, событие мирового масштаба. – Но не поздравил.

Этот день прошел как обычный. Праздничные столы были не в моде. На это не было ни средств, ни возможностей.

А вскоре произошло нечто совсем неожиданное, просто невероятное.

После утренней конференции Елатомцев задержал меня в кабинете. Посидели молча. Я – в ожидании, он – разглядывал меня, словно видел впервые.

Молчание затягивалось.

Я начала волноваться, старалась это скрыть. Мысленно пробегала события последних дней: за что может последовать разнос. Ничего не нашла.

Тишина становилась тягостной.

– Ты по-прежнему мечтаешь о хирургии? – вдруг просто прозвучал вопрос.

– А может, передумала? Привыкла к своему отделению? Слыхал, Аренгольд тебя любит, ценит, а?

– Нет, не передумала, – ответила я как можно спокойнее. И зачем этот ненужный разговор? – с какой-то тревогой зазвучало внутри.

Опять молчание. И тот же взгляд. Я посмотрела ему прямо в глаза.

– Так действительно не передумала?

– Нет, – ответила я чуть раздраженно.

– Ну, тогда принимай начальницей 14-ый корпус.

Сначала показалось, что я ослышалась. А когда он повторил, подумала – его очередная шутовская издевка.

Нет! Это была правда. Сказал, что предложение вполне официальное и требуется мое официальное согласие.

– Подумай, – заключил он.

Эта реплика была напрасной, согласие тут же выскользило из меня.

Отрезвление пришло тотчас, как я радостной птичкой выпорхнула из кабинета.

Я вдруг поняла весь ужас случившегося. Мне стало жарко. Два вопроса жгли меня насквозь и оставались без ответа: моя некомпетентность и отношения с Фаиной Александровной.

Я медленно шла по направлению Зоны, ничего не видя. Ну как я приду к Фаине Александровне и скажу:

– До свидания. Спасибо за все. Я ухожу от вас, от той, которая меня столькому научила и которой я сейчас могла бы во многом облегчить жизнь, став компетентной помощницей. Но я бросаю вас и ухожу в другое отделение потому, что мне нравится хирургия.

Нет, нет, это невозможно.

Ну, а другой аргумент! Скажи честно: разве ты можешь заведовать хирургическим отделением? Это уже не самоуверенность – это наглость!

И тут же другой голос:

– Ну, хорошо, я сумасшедшая, согласилась. А начальник, который это предложил? Он тоже сумасшедший?

Так где же выход?

Все знали, в каком критическом положении уже несколько месяцев находилось хирургическое отделение.

Прежняя начальница – в течение всей войны фронтовой хирург. Она и организовывала это отделение, но, серьезно заболев, постепенно стала отходить от дел. А в последнее время практически вообще не появлялась в корпусе. Из работавших в нем врачей свободно оперировал только доктор Шеффер. На него и легла вся практическая деятельность в отделении. И ответственность тоже. Елатомцев ему вполне доверял.

Многочисленные запросы в Центр с просьбой прислать хирурга оставались без ответа.

И хотя де-факто заведующая в деятельности отделения почти не участвовала, де-юре она оставалась начальницей. Пять дней назад она официально ушла из госпиталя и уехала. Теперь уже и де-юре отделение осталось без начальника. А де-факто всей работой в нем заправлял военнопленный немецкий врач. Несомненно, он был грамотным эрудированным врачом, честным хирургом. Однако вряд ли Елатомцев смог бы, случись такая необходимость, легко объяснить сложившееся положение своему непосредственному начальнику в Центре. Он явно был бы не понят, а в выводах можно не сомневаться.

Думаю, что именно это обстоятельство толкнуло его на столь рискованное решение.

С этими мыслями я вошла в свое отделение, твердо решив ничего не сообщать Фаине Александровне до более спокойного обдумывания случившегося.

Рабочий день подходил к концу, когда Фаина Александровна спокойным голосом спросила:

– Иночка, вам действительно нечего мне рассказать?

– Что вы имеете в виду? – вопросом на вопрос ответила я. Фаина Александровна, не обращая внимания на мои выкрутасы, спросила:

– Елатомцев предложил вам заведование 14 корпусом? Надеюсь, вы согласились? А почему ничего не рассказываете?

Вот так все и прояснилось.

Я передала Фаине Александровне свой разговор с Елатомцевым, и свои рассуждения тоже.

Ее реплика прозвучала вполне убедительно:

– Для госпиталя сейчас – это единственный выход. Елатомцеву снимут голову, если существующее положение станет известным высокому начальству. Кроме вас ему назначить некого. Все они – широкий жест в сторону корпусов – терапевты. Думаю, простую повязку наложить не смогут, забыли. Да и вряд ли найдется охотник на эту беспокойную жизнь. А что до нашего расставания – оно и так скоро и неизбежно, – заключила она.

Оказывается, Фаина Александровна уже давно решила, что эта работа становится ей не под силу. Она уже предупредила начальника, что в ближайшие месяцы собирается расстаться с госпиталем.

Так были разрешены все мои сомнения. Но остро и мучительно встал вопрос о неизбежном расставании.

Через несколько дней я переселилась в 14-ый корпус. И с помощью старшей сестры Зины Сувориной устроилась в кабинете начальника.

Эйфория, сопровождавшая мое чудесное превращение из рядового терапевта в начальницу хирургического отделения, улетучилась очень быстро. Первый испуг помогла пережить Фаина Александровна. Но, обойдя со старшей сестрой весь корпус и сделав большой общий обход больных, я только теперь по-настоящему постигла весь гигантский объем предстоящей работы: медицинской, хозяйственной, организационной.

Собрав все воедино, я поняла, что начальство попросту мной «закрыло амбразуру».

Из несметного числа вопросов для ближайшего осмысления я выбрала три. Не разрешив их, дороги вперед не было. Они касались больных, нашего госпитального коллектива и немецкого доктора Шеффера.

В отношении больных все опять надо было начинать с нуля. Это была совершенно другая патология, совершенно другой лечебный и диагностический подход. Срочно требовалось знакомство с хирургической литературой, преимущественно относящейся к травматологии.

Нечто похожее требовалось и в отношении коллектива. На мое назначение он отреагировал дружно – неприязненно, особенно начальники отделений, эта госпитальная элита.

Тепло приняв вчерашнюю студенточку, умненькую, хорошо воспитанную (по их собственной оценке), всемерно опекая ее, они не могли принять, что всего через год, не успев по-настоящему повзрослеть, она оказалась с ними «на равных». И теперь претендует быть принятой в элитарный круг.

Отчужденность, официальная, холодная корректность сменила дружескую теплоту прежнего отношения ко мне.

Непростой психологической задачей оказалось создание нормального рабочего климата, нормальных профессиональных отношений с немецким хирургом доктором Шеффером.

Волею случая он в течение нескольких месяцев решал все вопросы лечения больных в отделении. Короткие ежедневные посещения Пустынского, его еженедельные обходы ничего не меняли в сложившейся ситуации. Благодаря высоким качествам специалиста и основанном на них доверии Елатомцева, доктор Шеффер обрел степень самостоятельности, явно не предусмотренную «Положением о военнопленных», и привык к ней.

В течение всего этого периода не произошло ни одного события, дающего основания усомниться в его компетентности и честности. Это не могло не отложить определенное впечатление на его самооощение и в какой-то степени на поведение.

И вдруг появляюсь я в роли его непосредственной начальницы. Теперь я должна контролировать каждый его шаг, каждое его решение. Он, старше меня на 13 лет, сложившийся военно-полевой хирург, и я, год назад окончившая медицинский институт. Интересная композиция начальницы и подчиненного.

Мы оба с самого начала понимали, что в новой обстановке могут возникнуть трудности. Их следует избегать,

устранять при возникновении, максимально поддерживать гармонию внутри отделения.

Однако для осуществления этих намерений мы исходили, как вскоре выяснилось, из диаметрально противоположных установок.

Я стремилась как можно скорее, объемней и глубже с помощью литературы и подробного изучения больных, и, конечно, с его, доктора Шеффера, помощью вникнуть в клиническую ситуацию, овладеть ею и активно участвовать в жизни отделения.

Он же исходил из убеждения, что у «этой девочки», мало что понимающей в хирургии, хватит ума не «играть в начальницу», а, поверив ему, ни во что не вникать. И оставить все по-прежнему. С этих противоположных позиций мы шли навстречу друг другу, пытаясь при этом придать нашим отношениям вид высокой корректности.

Я тем временем ежедневно подолгу разговаривала с больными, заново собирая анамнез, осматривала их, приводя в порядок донельзя запущенные истории болезни, так как немецкие врачи медицинскую документацию не вели.

Так я постепенно познакомилась со всеми больными отделения. И одновременно изучала присланную мамой хирургическую литературу. Не скрою – это был очень трудный период моей жизни.

Доктор Шеффер не обращал особого внимания на мои действия. Он занимался своим привычным делом, весьма формально ставя меня в известность об оперативных вмешательствах, перевязках, гипсовании.

Знакомясь с больными, я поначалу задавала ему кое-какие вопросы. Возможно, они были наивны. Сначала он на них односложно отвечал. Затем это, видимо, ему надоело. Он стал проявлять нетерпение. Часто раздражался. Два раза почти перешагнул черту корректности, прозрачно намекнув на мою некомпетентность. Я перестала задавать вопросы. Мы почти не общались.

Существовал путь, который позволил бы все отношения сразу свести в подобающее русло – ведь он был воен-

нопленным. Но это было для меня неприемлемо. Я слишком уважала медицину и себя и считала, что врачи не имеют права скрещивать шпаги над головой больного.

Я сознательно выбрала другой путь.

Ситуация взорвалась, когда однажды я тоном, не допускающим возражения, сказала доктору Шефферу:

– Завтра в перевязочной покажите мне больного Шнейдера, полагаю, у него не порядок в ране.

Доктор Шеффер онемел. Настолько, что мне пришлось повторить сказанное.

Он широко раскрыл свои красивые коричневые глаза, в которых было недоумение, сменившееся вопросом, однако так и не произнесенным.

На другой день – наша встреча в перевязочной. Молчаливый эмоциональный диалог был продолжен. Я оказалась права – неблагополучие раны было налицо. Ему это было очень неприятно.

И, слава Богу, у нас обоих хватило смелой честности, такта и доброты: у него, опытного, открыто признать свою оплошность, у меня, молодой и ретивой, с пониманием и подобающим уважением это принять.

В этом на первый взгляд банальном эпизоде есть глубокий общечеловеческий подтекст. Пользуясь им, как определенной нравственно-моральной меркой, мы обоюдно оценили существенно важное в человеке, на познание которого зачастую тратятся годы. И оценили безошибочно. Последующая совместная гармоничная работа явилась тому бесспорным подтверждением.

С помощью доктора Шеффера я впервые самостоятельно вошла в фантастически таинственный мир хирургии, о котором мечтала с детства. Хирург широкого профиля, он многому сумел меня научить за 1,5 года нашей совместной работы. Среди моих учителей ему принадлежит особое место. Он никогда никого не учил, «не поучал» в общепринятом понимании этого слова. Он жил и работал. Эта работа была искусством, которому хотелось подражать. Не знаю, как он, будучи свободным, учил своих соотечественников. Меня он заражал своим при-

мером. Без лишних объяснений у операционного стола он говорил:

– Вы это сделали хорошо – можно попробовать сделать лучше. – И делал.

Хирургия – дама суровая и подчас жестокая. Много крови и сил высасывает она из своих адептов. Но зато и улыбки дарит солнечные. Из этих сочетаний и соткана жизнь хирурга.

В нашем хирургическом отделении всегда что-нибудь происходит: операция, репозиция отломков при переломах, гипсование. Как везде, возникают осложнения: воспаление, нагноение, кровотечение. Работа непрерывная и напряженная. Большая удача, что доктор Шеффер живет в отделении. Каждый вечер перед сном он обходит тяжелых больных. Если случилось что-нибудь серьезное, посылает за мной – это мое требование. Он его выполняет неукоснительно.

Бывают сложные ситуации, бывают и трагедии, слава Богу, редко.

Случаются и курьезы – нелепые, неожиданные. Некоторые повторяются почти закономерно.

О них стоит рассказать. Они связаны с обезбоживанием. С наркозом.

Но это не современный наркоз, который делает специалист-анестезиолог. Это допотопный эфирный наркоз, подаваемый с помощью простой маски Эсмарха.

Вот всё готово. На операционном столе – больной немец. Он не знает русского языка – лишь три знакомых слова: здравствуйте, спасибо, до свидания выговаривает с трудом. Врач, дающий наркоз, капает в маску эфир и накладывает ее на лицо больному. Последовательно развиваются фазы введения в наркоз. Наступает фаза двигательного и речевого возбуждения. Слышится неясное бормотание, обрывки малопонятных немецких слов. И вдруг... Бормотание кончается. Фантастический поток русской ненормативной лексики взрывает операционную. Слова четкие, ясные, без признаков акцента комбинируются в причудливую феерию. В операционной все

замерли от изумления. Наркоз продолжается, возбуждение больного кончается, он впадает в наркотический сон. Операция начинается.

Подобные случаи не редкость. Как правило, больной на другое утро спрашивает, стыдясь: «Как же это я проговорился?» И тем самым явно признается, что с ненормативной лексикой знаком. Меньшая же часть больных совершенно правдиво удивляется услышанному, и уверяет, что подобных слов не знает. Об этом я рассказывала нескольким невропатологам. Один из них попытался объяснить такие случаи наличием у некоторых больных так называемой своеобразной «амнезической памяти». Однако механизма ее действия объяснить не мог.

Заниматься вопросами хозяйственного плана оказалось для меня проще и легче – недаром в течение года я проработала под руководством Фаины Александровны в образцовом отделении. Эти вопросы куда менее интересны, но практика показывает их несомненно высокое значение в любом лечебном учреждении.

За генеральной уборкой отделения последовал ряд мер, в которых нам оказал неоценимую помощь заместитель по хозяйству Абрам Михайлович Гуревич.

Старый изношенный мягкий инвентарь и посуду заменили новыми. При входе в корпус для посторонних в специальный шкаф повесили крахмальные халаты. Для начальника сшили специальный – гигантского размера.

Без халата теперь в отделение войти было нельзя, равно как и в операционную без бахил. Обнаружив эти нововведения, начальник сначала не на шутку возмутился, когда его без халата не пустили дальше порога. Потом оценил, и не раз меня расхваливал, но, конечно, не в глаза – этого он делать не умел.

Дополнительное обстоятельство: в нашем отделении жили немецкие врачи. Они занимали две палаты: в одной стояло четыре, в другой три койки и большой обеденный стол.

Заметив в их апартаментах некоторую неряшливость, я прикрепила к ним специального санитаря из хозяй-

ственного корпуса. А к Новому году сделала им подарок – каждому новое теплое одеяло. Стоило посмотреть: они радовались, как дети, получившие красивую игрушку.

Все это вызвало в госпитале определенный положительный резонанс. И как-то само собой, без вопросов и объяснений, в мои отношения с коллективом вернулись былая теплота, дружба и взаимопонимание.

Разрешились спорные вопросы, большие и малые пертурбации, утихли страсти. И вновь потекла привычная, в равной степени простая и сложная жизнь госпиталя. Долго или коротко ей быть такой – знает один Бог.

Красивое солнечное утро поздней осени с еле уловимыми следами ушедшего лета.

Идя на конференцию, подумала: в отделении все спокойно: нет ни операций, ни сложных перевязок, нет даже тяжелых больных. И в госпитале в течение недели все на удивление спокойно.

И вдруг...

Конференция подходила к концу, когда без стука в кабинет начальника вбежала старшая сестра Земскова:

– Виктор Федосеевич, в госпитале бунт.

Все замерли. Такого еще не бывало.

Оказалось, больные тотально отказались от еды.

Раздали завтрак. Никто к нему не прикоснулся.

Клюсов включается моментально. Бунт – это по его части.

– В первую очередь необходимо сообщить в Центр, – категорически заявляет он. Начальник не согласен:

– В первую очередь надо разобраться, – и тоном приказа:

– Берите переводчика, отправляйтесь в Зону, разберитесь. Доложите – потом примем решение.

Клюсов молча вышел, все остальные за ним. Начальник остался в кабинете.

Клюсов зашел в 12 корпус, ближайший от проходной. Начальница отделения, его жена – терапевт Валерия Ключова, немного полноватая, красивая женщина лет 30-ти. Я вошла вместе со всеми. В коридоре – тишина. Пер-

сонал небольшой кучкой собрался у окна. Из палат не доносится ни звука.

Входим в первую. Все больные лежат лицом к стене, кое-кто закрыт одеялом с головой. На всех тумбочках завтрак: тарелка овсяной каши, два куска белого хлеба, на них – три куска сахара, рядом кружка желудевого кофе.

– Ходячим больным встать. – Приказ звучит резко. Ключосов раздражен.

Встали все. Головы опущены, взгляд устремлен в пол.

– Почему не завтракали?

Молчание!

Ключосов переходит на крик:

– Приказываю приступить к завтраку.

Никто не двинулся с места.

Переводчику:

– Разъясни им как следует – они тебя не поняли!

Переводчик повторил – картина прежняя. Все молчат.

– В лагерь захотели, – уже кричит Ключосов. – Всех отправлю в лагерь.

Со стороны больных – никакого движения.

Ситуация тупиковая.

Выхожу на улицу, бегу в свой корпус. Тайная мысль: а если по-другому попробовать – вдруг получится?

Вхожу в корпус – картина та же. В палатах также все лежат лицом к стене. На тумбочках – нетронутая еда.

Спокойно спрашиваю:

– Почему не съеден завтрак?

Два голоса из шести слабо произносят:

– Не хочется.

Что это? Насмешка, или вызов?

Сажусь. Спокойно, по-хорошему начинаю разговор с больными. Мало-помалу узнаю причину: в ответ на удлинение рабочего дня забастовал лагерь – объявил голодовку. Госпиталь присоединился из солидарности. Пытаюсь узнать, как получены сведения из лагеря. Не знают.

Объясняю всю нелепость этой затеи. И несомненный вред для их же здоровья. Понимают, соглашаются, но есть отказываются. И так повсюду.

Пришлось признать: моя идея не удалась.

Что же дальше? Ключов грубо кричит. Я – миролюбиво разговариваю, результат одинаков, т.е. – никакого. Повод явно нелепый, и они это понимают. Но слепая солидарность держит их в когтях.

Неужели начальство решиться на насилие?

Мысль будоражили разные трудные вопросы.

Насилие – это ужасно!

А ты знаешь альтернативу? Нет! Так, где же выход?

Вдруг блеснула мысль – немецкие врачи.

Постучала в их апартаменты. Вхожу. Все сидят за пустым столом. Вскочили. Их пятеро – доктора Лиин и Штиффенхофер отсутствуют. На столе – ни одной тарелки. Неужели позавтракали?

Честно признались: не завтракали, еду сами отнесли на кухню.

Объясняю всю нелепость подобного поведения. Для них, совершенно здоровых, оно особенно опасно. Что, надоела работа по специальности? Захотелось на шахту, в забой? Ведь им-то уж явно грозит лагерь.

Стук в дверь – это Шута. Ключов требует доктора Мюллер–Хегемана: нужна помощь антифашиста.

А ведь антифашист тоже не завтракал.

Они оба уходят.

Разговор продолжается. Все они прекрасно понимают бесполезность этой затеи, но боятся нарушить общую солидарность.

Меняю тональность разговора. Может, это не совсем достойный прием – поиграть на моем хорошем к ним отношении, на их благодарности лично ко мне.

И вдруг – сработало. Первым откликнулся доктор Кантак, за ним доктор Шеффер, потом остальные. Обещали не только пообедать, но и серьезно поговорить с больными. Я им поверила, и они это поняли.

Однако пока это было только обещание на будущее. Что произойдет в обед – неизвестно.

А Ключов тем временем, побывав в двух корпусах и встретив всюду однотипную реакцию, в состоянии нара-

стающего раздражения возвратился в кабинет Елатомцева, куда постепенно опять собрались все. Ключов уже почти требовал доклада по инстанции. Елатомцеву этого явно не хотелось. Доклад начальству он считал оправданным, если ситуация не изменится к обеду. Его активно поддерживали Фаина Александровна, Пустынский и я. Остальные согласились с нами.

Ключов был сторонником жестких репрессивных мер. И явно рассчитывал получить на них разрешение из Центра, даже через голову Елатомцева.

А как думал выйти из положения сам Елатомцев, было не ясно. Своими соображениями он с присутствующими не поделился. Был мрачен, зол и молчалив. Он ждал.

Ситуация оставалась тупиковой.

У меня была хоть слабая и не очень прочная, но все же надежда – обещание немецких врачей. Если нелепой затее хоть в одном месте будет нанесена пробоина, она потеряет всякий смысл, и потому надо подождать обеда.

Между тем спор между начальником и его заместителем перешел в более острую фазу. Оба теряли терпение.

Вдруг Елатомцев встал, со всего размаха стукнул кулаком по столу и резко, не повышая голоса, отчеканил:

– Я принял решение: мы сообщим начальству о случившемся после обеда, в том случае, если голодовка не прекратится. А сейчас отправляйтесь в Зону – разговаривайте с больными, привлеките антифашистов, обязательно немецких врачей, и работайте в нужном направлении. У вас есть два часа – действуйте!

Мрак над госпиталем. Общая подавленность. Нарастало и чувство страха: чем все кончится? Что будет с больными, с госпиталем, что будет с нами, присутствующими и участвующими?

Жестокие, тяжкие времена – все непредсказуемо.

В полном молчании дошли мы до проходной, и каждый направился в свой корпус.

Екатерина Ивановна Ганеева попросила меня зайти в ее отделение и поговорить с больными. В туберкулезном корпусе широкий коридор. Узнав, что я пришла, многие

вышли из палат. Столпились в коридоре. Получилось, что я говорила с «массаами». Отношение больных к акции, в которой они участвовали, было далеко не одинаковым. Были явные приверженцы, но большая часть голодала лишь из боязни нарушить солидарность.

Я пыталась объяснить, что они не могут и не должны ориентироваться на лагерь, что их участие в этой акции лишено логики. В лагере борются с тем, что им кажется несправедливым.

– А какую несправедливость вы находите в госпитале, где вас лечат, за вами ухаживают, заботятся?

Они слушали молча. Но мне показалось, что решительности у явных сторонников «бунта» поубавилось.

В своем корпусе я поговорила с больными в том же духе. Здесь это было намного проще и легче, всех их я хорошо знала, и мы лучше понимали друг друга.

Время обеда приближалось. Напряжение росло. Я не выходила из корпуса.

Привезли обед, начали раздавать.

Как мучительно трудно ждать.

Наконец обед раздали.

Врачи сдержали свое слово – они пообедали и пошли по палатам. Доктор Шеффер – у нас, остальные по своим корпусам. Как я им была благодарна.

Общий итог: многие поели. Но основная масса больных продолжала голодать.

Я пошла к начальнику, где опять собрались все.

Двери кабинета оказались запертыми: Елатомцев и Ключов звонили в Центр.

Мы ждали довольно долго.

Наконец дверь открылась. Возбужденный Ключов почти пробежал мимо нас, бросив на ходу:

– Идите по корпусам. Приказ – кормить насильно.

Мы вошли к Елатомцеву:

– Что значит «кормить насильно»?

– Таков был ответ на наш рапорт, – ответил начальник. – Дополнительного разъяснения дано не было.

– Ну и как? – прозвучал общий вопрос.

– Пока я не решил, надо подумать. Идите по своим корпусам, – сказал он мрачно.

В Зоне все, и персонал, и больные, уже все знали. И всюду звучала фраза на русском правильном и ломаном языке: «Приказ кормить насильно».

На пороге в отделение меня встретил доктор Шеффер:

– Приказ кормить всех насильно – это что? – заинтересованно спросил он.

– Не знаю, – ответила я.

С недоумением взглянув на меня, он промолчал.

Я пошла по палатам. Многие действительно пообедали. Однако общая картина оставалась прежней. Пресловутая солидарность еще крепко удерживала в своих лапах не менее половины больных. Все уже хорошо усвоили сочетание трех слов: «Приказ кормить насильно». Но никто не понимал их значения.

В этих трех непонятных словах, звучащих вокруг все настойчивее, уже отчетливо слышалась угроза хрупкому благополучию, обретенному на короткое время в госпитале. И теперь в глазах этих людей, спрятавшихся под одеяла, помимо тупого упорства, с которым они продолжали эту нелепую акцию, отчетливо сквозил ужас перед неизвестным. Вопросов никто не задавал. Все ждали.

Говорить было не о чем.

Идти было некуда.

Надо ждать распоряжения Елатомцева.

Клюсов по-своему истолковал приказ из Центра, и решил действовать, не дожидаясь решения Елатомцева.

Ареной действия стал 12-ый корпус.

Но как выполнить этот приказ технически? Лично мне единственно возможным представлялся револьвер, представленный к виску человека, не желающего есть сервированный обед. И реплика держащего револьвер:

– Ешь – или выстрелю!

Ввиду того, что подобная ситуация в госпитале исключалась, я не очень беспокоилась о больных.

Однако Клюсов рассудил иначе. Оптимальным он посчитал кормление через пищеводный зонд.

В десятикоечной палате, откуда еще не успели убрать нетронутый обед, он выбрал на вид самого крепкого больного. Получив отказ после командного предложения съесть свою порцию, усадил его на табурет в центре палаты. Необходимый реквизит: резиновый зонд, воронку, кружку и перчатки принесла старшая сестра. Больной на табурете в нижнем белье с жилистой шеей и тощими ногами в стоптанных тапочках производил жалкое впечатление. Девять больных, еле дыша, замерли на своих койках. Часть из них спрятала голову под одеяло. У двери собралась значительная толпа в белых халатах – сотрудников, пришедших из других корпусов.

Клюсов явно нервничал – говорил громко, суетился. Вокруг него бегал и приседал Шута. Два солдата конвоя стояли в стороне. Сестра по команде Клюсова, налив в кружку часть супа, стала вводить зонд. Открыв машинально рот, больной почувствовал во рту резину, с силой отбросил державшую его руку. Клюсов взглянул в сторону солдат. Те подошли. Один завел руки больного за спину, другой фиксировал голову. С одной из коек раздался звук, похожий на стон. Повторное введение зонда не удалось – больной крепко сжал зубы. Клюсов был в бешенстве.

– Попробуй еще раз! – почти крикнул он сестре.

Зубы не разжимались. По лицу больного поплыли темно-красные пятна, на шее с обеих сторон вздулись вены.

Из-за нарастающего напряжения никто не заметил, как открылась дверь.

Словно раскат грома с порога грянул голос:

– Прекратить безобразие.

Манипулирующие руки упали.

– Лейтенант Клюсов, немедленно в мой кабинет, – прозвучал тот же голос.

Хлопнула закрывшаяся дверь.

Несколько секунд стояла жуткая тишина. Потом еще раз, но более мягко, раздался звук закрываемой двери.

Ужин в этот вечер всем доставил большое удовольствие. Никто не отказался от добавочной порции.

Инцидент был исчерпан.

Чтобы поставить последнюю точку в этом тягостном событии, требуется ответить, по крайней мере, на два вопроса: чем объяснить столь пассивное отношение всегда бдительной службы НКВД к эпизоду с явно политической окраской? И что, в конце концов, явилось причиной прекращения голодовки?

Предположительный ответ на первый вопрос, полагаю, состоит в том, что голодовка в госпитале была лишь отголоском большого бунта в громадном лагере. Его усмирение потребовало напряжения всех сил и средств. В сравнении с лагерной акцией голодание нескольких сотен доходяг в госпитале можно было оставить без особого вмешательства. Тем более что после ужина в Центр поступил рапорт о полном восстановлении порядка.

Чтобы получить ответ на второй вопрос, я спрашивала многих больных, почему они продолжали голодать, несмотря на угрозу немедленной отправки в лагерь и насильственного кормления, и вдруг сами прекратили эту акцию, когда острота конфликта пошла на убыль?

Ответы совпадали – голодали из солидарности с лагерем. Прекратили же голодать, увидев, что Елатомцев запретил насилие.

Так сказать, за проявленную к ним доброту.

Пережитый нами эпизод, слава Богу, не имел никаких внешних последствий. А внутренние – заживали, как постепенно затягивается рана. Еще долго, собираясь вместе, мы обсуждали подробности происшедшего.

Под таким же впечатлением от пережитого находились и больные. Во время прогулок они не прохаживались медленно как обычно, а объединялись группами, разговаривали громче, чем обычно, жестикулировали, спорили. Когда я проходила мимо, они совершали свой обычный ритуал приветствия, а затем продолжали что-то живо обсуждать. По отдельным репликам я понимала, что речь шла все о той же истории. Общее настроение было приподнятое.

Отношения между начальником и заместителем по режиму вернулись в свое обычное русло. Страсти улеглись.

Для Фаины Александровны этот период был, пожалуй, самым трудным за все годы работы в госпитале. В одной точке сфокусировались три сложнейших обстоятельства: много тяжелых больных в отделении, резкое ухудшение ее здоровья в последнюю неделю, и назначенный день отъезда. Он катастрофически быстро приближался. Она испытывала настоящие страдания оттого, что уезжала, оставляя так много тяжелых больных. Но изменить день отъезда было уже нельзя, вещи сложены, брат, сам инвалид войны, уже приехал встречать ее в Тулу.

И, наконец, этот день настал.

Шел мелкий холодный дождь. Она чувствовала себя плохо и была раздражена. До железной дороги ее провожали наши мальчишки из конвоя.

От моего участия в поездке она категорически отказалась. Мы попрощались, она стала ласковее.

В машину села с трудом.

Стоя на дороге, я смотрела ей вслед, пока стена дождя не разделила нас окончательно.

Только тогда, когда машина исчезла из вида, я поняла, что произошло. Фаина Александровна уехала совсем, навсегда.

А вместе с ней ушло и мое медицинское детство. Я вдруг стала взрослой и беззащитно одинокой.

Я медленно возвращалась в госпиталь. Рабочий день еще был в полном разгаре. Ждало много дел.

А мелкий холодный дождик все лил, и лил, и лил.

После всех волнующих событий – бунта и вскоре последовавшего отъезда Фаины Александровны – в госпитале наступила тишина, грустная, давящая, сиротская.

Кроме меня, кажется, никто не был особенно привязан к Фаине Александровне, но каждый понимал, что с нею из госпиталя уйдет что-то очень важное, ценное, нужное.

Жизнь, конечно, не остановится, но что-то в ней явно произойдет, станет иначе, по-другому, изменится, и наверняка не в лучшем направлении.

Итак, госпиталь зажил без Фаины Александровны.

А вскоре, в самом начале зимы, в случайном разговоре Пустынский, словно невзначай, бросил фразу:

– Устал я и состарился, пора, видимо, на покой, да и жена тоскует без сына. Надо уезжать.

На эти слова никто не обратил внимания.

И вдруг, спустя несколько месяцев, как снег на голову – Пустынский уезжает. Уходит совсем.

Сергей Дмитриевич был добрым гением госпиталя.

Прекрасный терапевт, типично русский интеллигент, он был определенным противовесом резкому, порой грубоватому начальнику. Во всех сложных ситуациях, конфликтах, ссорах, профессиональных и общечеловеческих разногласиях, везде, где рождалась обида, была задета гордость и страдало достоинство, он всегда был бескомпромиссным защитником: убеждал, доказывал, ободрял, вкладывая всю мощь своего доброго сердца.

Его уважали и любили все. Думаю, в госпитале не было человека, обойденного его вниманием, помощью, дружеской поддержкой.

Невозможно забыть и сделанное им лично для меня. Именно он сказал мне ласковые, приветливые слова, когда я впервые переступила порог госпиталя. А как он заботливо опекал меня – неопытную начальницу хирургического отделения, помогая обрести почву под ногами.

И вот Пустынский уходит. Это не воспринималось серьезно.

А он уже укладывал вещи.

Когда наконец все поняли, что Сергей Дмитриевич действительно уезжает в следующий понедельник, остро встал вопрос: а кто же вместо него?

Клубок бурных обсуждений покатился по госпиталю. Перебрали всех и остановились на двух кандидатурах: рентгенологе Вартане Карповиче и начальнице туберкулезного отделения Екатерине Ивановне Ганеевой. Я считала, что пришлют кого-нибудь извне. Ведь Елатомцев наверняка сделал запрос.

А начальство молчало.

До отъезда Пустынского оставалось три дня.

Вечер. Отделения почти опустели, врачи разошлись. Я еще в корпусе. Приходит посыльный – просит в кабинет начальника.

Вхожу, Пустынский уже там. Оба выглядят весьма приветливо.

В голове мелькнуло: что-то похожее уже когда-то было.

– Садись, – говорит Виктор Федосеевич.

Помолчали.

– Вот, Пустынский уезжает.

– Да, это ужасно! – вырвалось у меня.

– А о замене ты подумала? – спрашивает Елатомцев.

Интересно, с какой стати я должна думать о новом заместителе? – возразила я про себя.

А вслух:

– Наверное, пришлют из Облздрава.

Елатомцев резко:

– Нет, не пришлют, заявки не подавали.

Пустынский молчит чуть-чуть улыбаясь.

Я удивленно пожимаю плечами. Чего от меня хотят?

Уловив мое невысказанное недоумение, Елатомцев, глядя мне в глаза, твердо произнес:

– Я решил: моим заместителем по лечебной части будешь ты. Согласна?

Я молчала очень долго. Молчали и они.

Ошеломляющее сообщение ударило по всем чувствительным струнам, включило все эмоции разом. Радостная гордость, полное неприятие, страх, вера в себя и абсолютное неверие, страстное желание рискнуть и презрительная насмешка над своей самоуверенностью.

Это продолжалось, пока из всей хаотически движущейся массы не сформировалась одна стержневая мысль.

Про себя, я ее сформулировала следующим образом: если год назад ты, согласившись на безумный шаг, не оступилась, уцелела, то почему бы тебе, став на год старше, не сделать еще более безумный шаг?

Я вернулась к действительности: но почему они оба так пристально смотрят на меня? Это меня очень беспокоило. Стало тревожно.

Теперь-то я очень хорошо понимаю, что эти два мудрых человека, прожившие долгую и нелегкую жизнь, глядя на меня, как в открытой книге читали переживаемую мной «бурю ощущений» и борьбу с собой.

Прочли они и мое невысказанное согласие.

Елатомцев прервал молчание:

– Ну, так что, – в голосе был не вопрос, а утверждение, – у тебя три дня впереди, принимай дела, войди во все тонкости, пойми, охвати все.

И уже совсем будничным тоном:

– В отделение можешь не ходить, Шеффер, надеюсь, справится. Я кого-нибудь дам ему в подмогу.

И я спокойно, сама не веря своим ушам, сказала:

– Ничего не надо. Я сама все скажу Шефферу.

Вот и все.

Так я стала вторым лицом в госпитале.

Прошли десятилетия. А мне и сегодня интересно, что думали тогда 59-летний начальник госпиталя и его 70-летний заместитель, когда поняли, что 23-летняя девочка так просто согласилась на безумное предложение.

А может, они не считали его безумным?

Осуждали ли они меня? Думаю, нет.

Сегодня я в их компании – тех двоих, седых и мудрых. Я даже старше и мудрее их – тогдашних. И могу вместе с ними участвовать в оценке неординарного поступка той юной девушки: она имела на него право.

Теперь нас трое против одной. Думаю, мы солидарны, несмотря на разницу поколений.

Полагаю, только на подобных примерах можно по-настоящему понять, что такое молодость. Она не безрассудна – она мыслит. Ее бесстрашие и смелость – не беспочвенны, они защищены отвагой и высокой маневренностью реакций. Ее безоглядное стремление к риску не бессмысленно – оно зиждется на уверенности в своих силах: в нужный момент они высвобождаются, подобно пружине, с которой снят пресс.

Прощание с Пустынским было теплым и очень грустным. Все его любили искренне и бескорыстно. Мы ост-

ро переживали эту потерю. Уходя, он уносил частичку каждого из нас.

В день отъезда он выглядел усталым. Всегдашнюю бодрую улыбку сменила грустная, немного беспомощная, старческая.

Он много души, сердца и сил отдал госпиталю, и навсегда рвать эту связь было больно.

Немецкие врачи через меня передали ему свои лучшие пожелания и благодарность, подчеркивая его высокую культуру и человечность. Утром перед отъездом он зашел к ним. Все были в сборе. Доктор Мюллер-Хегеманн, непрерывно учивший русский язык, решил произнести прощальную речь по-русски. После трех вполне прилично выговоренных фраз, вдруг забыл следующую, и остановился. Приветствие закончил доктор Кантак, уже на немецком, с моим переводом. Все вышло тепло и сердечно.

Утром на конференции Елатомцев официально представил меня, как своего заместителя по лечебной части.

– Прошу любить и жаловать, – закончил он.

Все молчали.

Позднее оказалось, что это сообщение раскололо коллектив на две почти равные части: большая была против, остальные – равнодушны.

Сторонников у меня не было. Я поняла, что должна во чтобы то ни стало переломить ситуацию в свою пользу. И для этого у меня есть единственный день – сегодня.

И только сегодня!

Завтра будет уже поздно. Завтра закрепится расклад сил и таковым останется навсегда. А в обстановке неприятия большей части коллектива работать невозможно.

Принять такое смелое решение – переломить ситуацию – было легко. А как это сделать?

Елатомцев ясно видел, как принял коллектив новость. Он понимал все и не сделал ни малейшей попытки помочь мне – остался в роли стороннего наблюдателя.

Лишь много времени спустя, когда новые отношения окончательно утвердились, вспоминая те трудные дни, он сказал:

– Я решил тогда, что из этих затруднений ты должна выкрутиться сама, без посторонней помощи, только в этом случае можно добиться успеха.

Жизнь подтвердила его правоту.

Посоветоваться мне было не с кем. Мама далеко. Фаина Александровна уехала. Начальник отстранился.

Я решила, что прямой и открытый разговор с коллективом – это единственно правильный путь. И провести этот разговор надо именно сегодня.

Я не чувствовала раздражения к коллегам. Думаю, никто из них не горел желанием занять этот трудный и ответственный пост. Я никому «не перебежала дорогу». Но мысль, что они попадают под власть девчонки, задевала самолюбие. Никто против меня открыто не выступил. А недовольны были все.

Я решила, что именно здесь находится самая подходящая мишень для моей атаки.

Итак, я вступила в бой.

С нарочным, официально, я разослала всем врачам приглашение: собраться на совещание в кабинет заместителя начальника по лечебной части в 4 часа дня.

Пришли все. Без опоздания. Мрачные, неразговорчивые.

Я не приготовила никакого текста. Ничего специально не придумала. Мне казалось, что для данного случая более подходит эмоциональный тон человеческого общения. Упаси Господь допустить начальственную ноту. А от меня, как я потом узнала, ждали именно этой «новой метлы» с новыми идеями.

Я волновалась, под ложечкой мучительно сосало.

Наконец, все расселись. Молча, ошестинившись.

Я нарочно не села в кресло Пустынского, а заняла свободный стул за общим столом, вместе с врачами.

Мое обращение было эмоциональным, может сверх меры.

Вкратце стержневая мысль состояла в следующем:

– Два года назад ваш коллектив по-доброму, с открытой душой принял меня, юную вчерашнюю студентку. Вы

околожили меня вниманием и помогли не потерять себя в новых условиях, многому научили. Очень скоро я стала «своей» среди вас. Мою роль заведующей отделением вы приняли с меньшим энтузиазмом, но наша активная дружба победила. А ваша поддержка в новых, трудных условиях оказалась еще более ощутимой. Мою дружескую симпатию, полагаю, неизменно чувствует каждый из вас. Волею судьбы я опять стою на еще более ответственном этапе, о котором даже страшно подумать. Я согласилась на настойчивое предложение Виктора Федосеевича только потому, что была уверена: весь коллектив, как и раньше, не только поддержит меня, но и непременно поможет. Очень хорошо понимаю, что я – не эквивалент Пустынскому. До него мне далеко, как до звезды. Но я твердо знаю, что если мы, как всегда, будем вместе, то не уроним чести нашего любимого Сергея Дмитриевича, а продолжим его дело.

Вот в таком ключе я обратилась к собравшейся аудитории.

Слушали внимательно.

Уже с первых слов я поняла, что выбрала правильный тон. Чувствовала: постепенно меняется настроение слушающих. Подобного они не ожидали и были застигнуты врасплох. Я поняла, что они не только слушают, но и слышат. Их реакция воодушевила меня. В голосе появилась привычная звонкость.

Они поняли и поверили мне. Из кабинета Пустынского, из моего теперешнего кабинета, выходили уже другие люди. Настроенные вполне дружелюбно.

Забегаю вперед, с удовлетворением скажу: целый год проработала я на этом ответственном посту. Были сложные и очень сложные ситуации. Но ни разу на карту не ставились наши добрые отношения.

Вольфганг Гете сказал: «Жизнь измеряется не годами, а полнотой ощущений».

Последний год моего пребывания в госпитале по полноте ощущений сродни десятилетию. Но если говорить о временном восприятии, он, оцененный сегодня в об-

ратной перспективе, промелькнул как блистательный метеор. Вереница мчащихся, заполненных до отказа дней ни на минуту не прекращала своего стремительного движения. Разделяющие их короткие ночи не успевали прервать нить бегущих ощущений. Наступал рассвет, и начинался новый день.

Нетерпеливое стремление сразу охватить все словно бросило меня на амбразуру. От полного краха с первых шагов меня спас абсолютный порядок, заведенный железной волей Елатомцева. С этого порядка я и начала свои первые робкие шаги большого начальника. Но жизнь не стоит на месте – рождались новые вопросы, требовались нестандартные решения. С ними взрослела и я, глубже вживаясь в новую роль.

Наиболее актуальной и трудно решаемой проблемой того периода была катастрофическая перегрузка коечного фонда. Лагерь категорически отказывался принимать обратно выздоровевших пожилых больных и хроников. Их ведь нельзя немедленно отправить в забой, а некоторые навсегда утратили трудоспособность. Их было немало. Они оставались в отделениях, постепенно снижая общий коечный фонд каждого корпуса.

Мы информировали высокое начальство, объясняли, просили, требовали. Переписка занимала кучу времени и сил. Но кругом были глухие – нас не слышали. А между тем туберкулезное отделение было вдвойне перегружено только остаточными больными.

Помимо таких, как принято сегодня говорить, глобальных задач, ежедневно вырастали более мелкие. С утра в кабинете возникает высокая фигура заведующего аптекой, очаровательного интеллигентного Василия Петровича: в ведомственном аптекоуправлении появился эффективный витамин для дистрофиков – надо заказать. Затем важно wpłyает величественная Анастасия Ивановна: у них с доктором Линн заканчивается материал для протезирования зубов. Начальнице одного из терапевтических отделений необходимо срочно созвать консилиум – отяжелел больной. Вдруг словно из-под зем-

ли вырастает старшая сестра моего отделения Зина Сиворина.

– А вы скоро к нам придете? Доктор Шефер хочет с вами согласовать список операций на неделю.

Я пишу отношения, заявки в аптекоуправление, в медицинские магазины, участвую в консилиуме, по дороге смотрю тяжелых больных, подписываю список операций на неделю, перехожу из корпуса в корпус. После обеда оказывается, что захворал дежурный врач – нужно срочно найти замену. А уже совсем к вечеру по телефону сообщают из лагеря, что завтра прибудет внеочередная партия больных.

И так каждый день. И, слава Богу, это все в обычном режиме, без каких-либо эксцессов и происшествий.

Елатомцев с самого начала настаивал, что совмещать две должности – невозможно. Наконец в этом убедилась и я. Пришлось отказаться от заведывания отделением. Его приняла недавно поступившая к нам врач средних лет – жительница Скопина, где она много лет проработала в хирургическом стационаре местной больницы.

Мне было жаль расставаться с лечебной работой, с моими больными, с хирургией, с 14-ым корпусом, который я успела полюбить.

Между тем течение монотонно нагруженных дней время от времени нарушалось.

Я завела правило: ежедневно побывать в каждом лечебном корпусе. Без расписания и предупреждения – мол, ждите всегда. Не для контроля. А так, просто взглянуть.

Обед подходил к концу. Вхожу в терапевтическое отделение. В одной палате шум голосов. Их перекрывает резкий крик по-немецки. Узнаю голос Шута.

Давно собиралась приструнить этого наглого притеснителя рабочих 10-го корпуса. В нем он старший. К больным же ходить ему запрещено.

Теперь он попался с поличным.

Открыв дверь, я остановилась на пороге: несколько человек, сгрудившихся у кровати больного, замерли. Наступила тишина.

Секунда ступора – не ждали.

Обращаясь прямо к Шута, я спокойно сказала:

– Я запретила вам бывать в 14-ом корпусе. Теперь я категорически запрещаю вам переступить порог любого клинического отделения. Первое нарушение – и я вас отправлю в лагерь. А сейчас немедленно убирайтесь отсюда, – добавила я по-немецки.

Угроза отправки в лагерь – скорее дань эмоциям.

Я хорошо знала, что Ключову он нужен, все врачи мне доказывали, что нуждаются в нем как в переводчике. Замены для них у меня не было. Втягивать в эту «мышиную возню» Елатомцева мне не хотелось. Сам Шута прекрасно понимал эту ситуацию. Но меня все же сильно боялся. Заходя в клинические корпуса, выставлял охрану, на случай моего появления в Зоне. Сегодня, видимо, не успел.

Инцидент оказался нелепым. Пожилой больной в громоздкой гипсовой повязке, неуклюже с трудом поворачиваясь в постели, разорвал простыню, испугался, хотел что-то поправить и вырвал из нее большой клочок. Он сильно разволновался, пытаясь все объяснить возмущенной санитарке. Ничего не понимая, она стала кричать. Кто-то из больных привел Шута. Последний стал орать на больного еще громче, чем санитарка. В этот момент появилась я.

Досталось всем. Оправдываясь, санитарка пыталась мне объяснить, что больной своей неуклюжей гипсовой повязкой разрывает уже третью простыню.

На провинившегося страшно было смотреть. От волнения он не мог выговорить ни слова. А когда немного успокоился, сказал, что ему очень стыдно, он глубоко чувствует свою вину, понимает, что она велика, но все это произошло нечаянно. Просил прощения. Несмотря на мои уговоры, не мог остановиться и опять просил прощения.

И, самое мучительное, в качестве оправдания вдруг сказал – словно это был последний аргумент самозащиты:

– У меня три сына погибли на фронте, жена с дочерью и внуком попали под бомбардировку, а я вот уже четыре года – по лагерям. И заплакал.

Я перевела его слова сестре и санитарке.

– И тебе не стыдно? – спросила я ее. Она промолчала, доставая из кармана носовой платок. Больного успокоили, поменяли белье и уложили.

Исчерпанный инцидент! А сколько их на каждом шагу?

Однажды в конце рабочего дня ко мне в кабинет входит Виктор Федосеевич. Приветливый, настроение хорошее. Спросил как дела. Все было в порядке. Удобно расположился в кресле. Рассказал смешную историю времен войны. Вспоминал подробности. Весело смеялся. Такие минуты были редкостью.

Воспользовавшись этим, я очень спокойно, как нечто само собой разумеющееся, напомнила, что до окончания срока институтской отработки у меня осталось чуть меньше года.

Боже мой! Веселое настроение исчезло мгновенно. Лицо приняло знакомое жесткое выражение. И тоном, каким суровый начальник в момент крайнего раздражения разговаривает со своим нерадивым подчиненным, он заявил:

– Ты что же полагала, что я сделал тебя своим заместителем всего на один год? Откуда такая наивность? Запомни, ты уйдешь из госпиталя вместе со мной, при его расформировании. А это, думаю, наступит не скоро. Имей в виду: разговоров на эту тему я больше никогда слышать не желаю. Дверь за ним захлопнулась несколько громче, чем следовало.

Сейчас в это трудно поверить, но по тогдашним законам он имел полное право не отпустить меня. И никаких путей борьбы с этим – ни прямых, ни обходных – не существовало. Так что в тот момент моя участь была решена на многие годы вперед.

Написать об этом разговоре маме было невозможно. Мама считала уже не месяцы, а дни до моего возвращения домой.

Сама я погрустила и успокоилась.

Фаталисткой я была с раннего детства.

Кончалась зима дружно и очень солнечно. В Зоне хозяйственная бригада и выздоравливающие больные охотно и весело помогали таянию последнего снега. Его уже почти не осталось, когда внезапно закружившаяся ночью метель обрушила на госпиталь тонны белого пуха, густо прикрывшего все вокруг. Утром, в серых полусумерках, еще кружились последние снежинки, а голубоватые сугробы превратили мир в сказку.

В Зоне уже опять кипела работа. Ловко орудуя метлами, лопатами, скребками, люди радостно освобождали дорогу весне.

В новой должности я регулярно перед утренней конференцией заходила в Зону. Завидев меня, все по обыкновению выстраивались в ряд и дружно кланялись. Так было и теперь. Сначала мне показалось, что всеобщее, какое-то особенное возбуждение связано с уборкой этого красивого, пушистого снега. Но очень уж оно было необычным: больные смеялись, перебрасывались репликами, о чем-то спорили. Их лица были возбуждены.

И вдруг я уловила кем-то произнесенное слово «репатриация». Странно, подумала я, откуда взялось это слово?

В то же утро, после окончания конференции, как обычно разбирая почту, я обнаружила большой типовой конверт из нашего Центра. В нем лежало извещение о начавшейся в стране репатриации военнопленных.

Так вот оно что! Но откуда они это узнали?

Там же имелся отдельный приказ, касающийся нашего района, с инструкцией для всего мероприятия в целом, а также для отдельных лагерей.

Наш госпиталь отдельной строкой включался в сферу общего действия.

Мысль о том, что военнопленные узнали об этом сообщении раньше нас, не покидала меня. Откуда? Ответа на этот вопрос не было.

В середине дня Елатомцеву позвонили из лагеря – к ним это сообщение пришло вчера вечером.

Итак, в лагере эти сведения были получены еще вчера вечером. Вопрос несколько сузился, но остался неразрешенным: как же за ночь эта новость попала в госпиталь? История повторялась, в прошлый раз мы так и не нашли ответа, каким путем возникший в лагере голодный бунт перебросился в госпиталь? Сегодня, как и тогда, ответа на него нет.

Весь остаток дня, собравшись в кабинете начальника, мы подробно изучали приказ. Он был ориентирован на лагерный контингент. Наш госпиталь в общий список попал, видимо, случайно. Следствием этого оказалось: во-первых, нам дали в эшелоне очень мало мест – мы сможем отправить лишь одну треть из вполне подходящих к репатриации больных. Во-вторых, медицинские критерии отбора больных в документах даны в самом общем виде: «Хроники, которых нельзя использовать на тяжелых работах».

Наших больных, нельзя использовать вообще ни на каких работах. Еще в приказе указывалось, что резко ослабленных и истощенных включать в список не следует. И что вагоны по составу репатриированных будут усреднены, т. е. госпитальные больные поедут вместе с лагерными военнопленными.

Все это требовало доработки отдельных пунктов приказа, с ориентацией на особенность наших больных. Для утверждения этих пунктов и разъяснения к ним мы проводили повторные консультации и согласования с членами Центральной комиссии по репатриации (ЦКР). А вопросы все рождались и требовали новых консультаций.

При отборе больных помимо чисто медицинских большое значение имели и критерии социально-политические. К ним мы отношения не имели. По этим критериям больные в поданных нами списках проверялись специальными, компетентными органами. Но один пункт требовал нашего участия. В список репатрируемых больных запрещалось включать служивших в войсках СС.

Они были легко узнаваемы. У каждого из личного состава войск СС, от генерала до солдата, на коже передне-

го отдела левой подмышечной впадины была вытатуирована группа его крови. Так, на всю оставшуюся жизнь, Гитлер обессмертил свою любовь к этому роду войск. Фюрер ушел, а люди, спасая свою жизнь, придумывали всяческие способы извести признаки былой любви: вырезали хирургически и кустарно, выжигали огнем, вытравили различными снадобьями. Все было напрасно – любая метка, рубчик, царапина, шероховатость, узелок, нарушение пигментации кожи в этой зоне – все являлось абсолютным приговором и обсуждению не подлежало. Полноценную метку – четко различимые символы АВ IV – я встретила всего у одного больного.

Кое-какие изменения кожи в этой зоне иногда попадались. Носители их неизменно клялись, божились, объясняли тысячей причин их происхождения. Для официальных служб все было напрасным.

А чисто по-человечески некоторым мне хотелось поверить. Особенно одному, очень симпатичному, уже не очень молодому человеку.

Он уверял, что в 14-летнем возрасте его укусила лошадь. И действительно: совсем нетипичный своеобразный «двухэтажный» рубчик в этой области очень походил на отпечаток прикуса. Мы много разговаривали, я ему поверила. Но его судьбы это не изменило.

Планируемый эшелон шел издалека, по дороге забирая репатриантов. Конечным пунктом его формирования были ближайший лагерь и наш госпиталь. Ориентировочный срок отправки эшелона – вторая половина мая. Все документы на больных в окончательном виде должны были быть поданы не позднее 31 марта. Времени оставалось очень мало.

Работа была непривычной, поэтому и казалась очень трудной. На какой-то определенный отрезок времени вся жизнь госпиталя была целиком подчинена этой работе.

А что происходило с больными?

Психологический климат Зоны резко изменился. Плохо скрываемое возбуждение нарастало. Их словно подменили.

Обычно молчаливые, сосредоточенные, лежа на своих койках либо встречаясь в коридоре или на прогулке, они обменивались приветствиями, односложными репликами о самочувствии, погоде, получаемом лечении. В палатах никогда не было шума, который возникает, когда люди что-то обсуждают или спорят. Почти никогда не слышалось смеха, даже простой шутки. Мне не приходилось слышать их разговоров друг с другом о прошлом, о доме, о жизни до войны, о самой войне, о военных эпизодах.

Они словно похоронили свое прошлое, никакой болтовни о нем. Все, что относилось к довоенной жизни: близкие, дорогие люди, события, собственные мечты, чаяния, радующие сердце воспоминания – все было спрятано глубоко. Не от посторонних глаз, а от самих себя – так было легче.

Нет! Не легче – иначе просто невозможно переносить каждый день.

Похожие друг на друга дни рождали спасительную для сознания привычку: так есть, так будет всегда, бесконечно, до самого конца.

Иногда взбунтовавшийся разум кричал: наступят же когда-нибудь другие времена, не может же так длиться вечно?!

Почему, может, – спокойно убеждала серая, безрадостная действительность.

И жизнь снова шла своим привычным чередом. А рядом инстинкт самосохранения жестко вел свою линию. И чтобы физически уцелеть, был один реальный способ: надо было забыть прошлое, не строить планов, не надеяться.

И вдруг, нежданно-негаданно упало это спасительное слово – «репатриация!»

Его услышали все. Это не было фантазией, выдумкой, сном.

Слово звучало все громче, все настойчивее. Не верить было невозможно. И души распахнулись навстречу этому волшебному слову.

Пока больные «веря – не веря» вживались в новую действительность, мы, с головой уйдя в работу, готовили их отъезд.

Полностью включилась в дело специально созданная отборочная комиссия. Исходя из общего числа предоставленных нам в эшелоне мест, мы определили квоту для каждого отделения. И приступили к персональному отбору больных.

Это оказалось самым трудным. К великому огорчению, туберкулезные больные были изначально исключены из репатриации – в общий вагон их поместить нельзя, а в эшелоне не было специально предусмотренного вагона.

Труд отборочной комиссии был достаточно тяжел физически – надо было пересмотреть громадное число больных. Но эта нагрузка была ничто в сравнении с нагрузкой моральной. На комиссию вызывали всех больных старше 65 лет, а также всех тяжелых, уже независимо от возраста.

Число больных, подходящих для репатриации, значительно превышало количество мест, предоставленных нам в эшелоне, т.е. из числа подходящих требовалось отобрать «самых подходящих». Задача чрезвычайно трудно выполнимая: из тяжелых больных выбрать самых тяжелых, но таких, которые, тем не менее, смогут перенести дорогу. Таково было требование высокого начальства.

Мнения врачей комиссии часто не совпадали, сталкивались, возникали споры. Многих больных приходилось вызывать повторно, что еще больше увеличивало общую взволнованность Зоны.

По распоряжению службы режима вся работа по репатриации была отнесена в графу «Совершенно секретно». Это было смешно и дико, тем более что больные об этом узнали раньше полученного нами извещения из Центра. Но службу режима переубедить было невозможно. Следствием же этой «секретности» было то, что с больными никто не разговаривал, им ничего не объясняли, даже при трехкратном вызове на комиссию. Это нагнетало страх.

Не менее тревожились и страдали больные, которых вообще не вызывали на комиссию. Из-за этой нелепейшей игры в секретность возникшая было в сердцах больных радость обернулась тревогой и растерянностью.

Зона замерла в ожидании.

Реальных сведений нет, но работает интуиция. Продолжается обычная, повседневная работа. А ощущение – будто все происходит на вулкане. Надежда, помноженная на отчаяние, висит над Зоной, словно удушливое облако. Его чувствуют все. Кажется, еще немного и нечем будет дышать.

Со стороны больных – ни единого вопроса, только взгляды. Описать их невозможно. Они горят, молят, вопрошают, сомневаются, требуют, прощают, умоляют, проникают вглубь. Не получая ответа, не гаснут, а словно кричат еще громче.

Работа по отбору больных продвигалась медленно. Время шло. Критический день приближался. Все были издерганы и волновались еще больше.

Наконец настал день, когда председатель отборочной комиссии вручил мне окончательный вариант списка.

Однако оказалось, что комиссия включила в него «про запас» несколько больных. Требовалось исключить лишние фамилии. Так возник «резервный список».

Наконец все бумаги подписаны Елатомцевым и отправлены по назначению. Резервный список пригодился: при проверке документов в ЦКР из основного списка по социально-политическим мотивам были вычеркнуты двое. Мы их тут же заменили другими из резерва.

Настал важный день: вместе с утвержденными списками поступило разрешение оповестить больных.

Это обязанность Ключова.

Списки зачитаны по корпусам. Теперь все всё знают.

В Зоне вспышка ликования и обманутых надежд. Смех и слезы, радость и горькое отчаяние. Как всегда и везде в жизни.

Примирает фраза Ключова:

– Ведь это только первый эшелон – будут и другие.

Все дела были закончены. Ждали прибытия эшелона. Но естественное чувство удовлетворения было омрачено допущенной несправедливостью. В ней были повинны все. А я, как ответственная за работу в целом, больше всех.

Покаявшемуся, говорят, часть грехов отпускается. Поэтому я и должна рассказать об этом подробно.

Согласно инструкции по возрастному цензу – 65 лет и старше – в госпитале репатриации подлежало четверо: два рабочих из 10-го корпуса, и два доктора: терапевт Бергер – 65 лет, он работал под начальством Екатерины Ивановны Ганеевой в туберкулёзном отделении, и доктор Лиин – стоматолог, которому недавно исполнилось 67 лет. Доктор Бергер к тому же страдал приступами стенокардии. Остальные трое были здоровы и трудоспособны.

Из этих четверых в первичный список мы включили только доктора Бергера. В ЦКР против него возражений не было, и он готовился к отъезду.

Двое рабочих из 10-го корпуса не могли быть включены в список по причине измененной кожи в левой подмышечной впадине. В полном отчаянии один объяснял их происхождение укусом лошади, другой – повторным гидроаденимом и операцией. Никто этих объяснений в расчет не принял.

А доктора Лиина даже не пригласили на комиссию. И это была заведомая несправедливость. И мы ее сознательно совершили. Он был уверен, что будет репатриирован, он имел на это право и знал об этом. Мы обманули его ожидание. Именно в этот момент на кривой его судьбы, в одной точке сфокусировались три причины, в какой-то мере оправдывающие наш поступок. В свои 67 лет он был здоров, крепок и трудоспособен. Госпиталь в нем нуждался. Во внешнем зубопротезном кабинете накопилось много невыполненных заказов. Все они были запущены в работу. Их необходимо было завершить.

Обсудив все, мы вместо него включили в список молодого, очень больного человека. По формальным кри-

териям, может, это и не было большим грехом. Но наших действий по отношению к доктору Лиину это не могло оправдать.

Как-то в один из этих тревожных дней я зашла в апартаменты немецких врачей. Они по обыкновению встали. Доктор Лиин среди них. Почему-то он не показался мне таким высоким. Ссутулив плечи и опустив голову, он старался не встретиться со мной взглядом. Мне было мучительно стыдно.

На другой день я сказала ему всю правду. Ничего не скрыла. В утешение добавила, что репатриация только начинается. Он слушал внимательно. А затем с горькой, снисходительной улыбкой произнес:

– В моем возрасте мало шансов дожить до счастья.

Слава Богу, он дожил.

Отправка больных в Рязань, куда должен прийти эшелон, распределение больных по вагонам, оформление документации – это обязанность Ключова. Из Рязани он вернулся довольный, все прошло хорошо.

На другое утро на конференции Елатомцев, обращаясь ко всем, сказал: «Хвалю, справились отлично». И непосредственно ко мне: «Молодец!»

Мне было очень приятно, тем более что он, подобно моему папе, добрыми словами похвалы дорожил и расставался с ними очень редко.

Вдруг сразу резко изменился темп жизни.словно поезд на бешеной скорости сходу внезапно остановился в степи.

Больных в госпитале стало заметно меньше. Существенно уменьшилась нагрузка.

И я неожиданно с восторгом увидела, что мир наполнен весной: ее небом, цветами, ароматом. Так радостно, светло и весело стало на душе. Короткие звездные ночи сводили с ума, заставляли чаще биться сердце. Хотелось любить, писать стихи.

Несколько вечеров подряд мы с Ириной Балтиной ходили «за околицу». Так назывался небольшой лесистый пригорок за деревянными домиками, слева от нашей тер-

ритории. Мы садились под большой березой, единственным крупным деревом в нашем уголке, смотрели на звезды и мечтали вслух.

Часы бежали быстро. И вот уже золотистая полоса прочертила горизонт. С сожалением мы возвращались к себе. Сколько нам оставалось для сна? Два, три часа?

И наступал новый день.

Прогулки наши, увы, длились недолго. В начале следующей недели две огромные фуры привезли из лагеря новую партию больных. Жизнь вошла в свойственный ей ритм.

Спустя несколько дней, после утренней конференции, обращаясь ко мне самым что ни на есть обыкновенным тоном, Елатомцев произнес:

– Завтра утром на пять дней уезжаю в Москву. Утренние конференции проводи обязательно. Заметив выражение моего лица, добавил неожиданно мягким тоном:

– Нечего пугаться, справишься. Я всем повторил, что ты – мой полноправный заместитель.

Стоит ли описывать мои ощущения? Ведь в это впряглась я сама.

Он уехал.

Калиф на час вступил в свою роль. Все пять дней прошли на удивление гладко и тихо. Никаких происшествий: мирная утренняя конференция переходила в размеренно-привычный рабочий день. А июльские вечера и ночи были прекрасными. Я благодарила Бога, что ни разу за все пять дней не возникло повода для демонстрации моей начальственной значимости. Мой «руководящий» голос звучал только на утренних конференциях, и то не очень громко.

Елатомцев вернулся в назначенный день в хорошем настроении. Я искренне радовалась, что мне нечем его испортить. Мой подробный доклад о каждом дне слушал не перебивая, со снисходительной улыбкой, и мне показалось, что все это ему уже известно. Похвальных слов не произнес (а я-то надеялась). И, словно закрывая тему, удовлетворенно, мягким голосом промолвил:

– Вот так и будем жить, – немного помолчал и с ехидцей добавил, – долго.

Намек я поняла: ведь до планируемого мной отъезда оставалось всего десять месяцев.

Пора было всерьез подумать о возвращении домой.

Бороться с Елатомцевым бесполезно. Надо искать обходные пути. Реального плана у меня не было. Время шло. На каждой маминой открытке уже несколько дней повторялся эпиграф – «До Иночкиного возвращения осталось столько-то дней». Пока еще счет шел на сотни.

Работа как всегда поглощала время и мысли. Для решения собственной судьбы не хватало ни того, ни другого – она просто выпадала из поля зрения.

Но тут возник неизвестно откуда проникший слух: репатриация продолжается – готовится новый эшелон.

И разбрасывая в стороны все намерения и планы, возникло острое желание сопровождать этот эшелон. Оно росло и крепло и скоро поглотило меня целиком.

Тем временем слух стал реальностью. Да еще какой! Эшелон фактически предназначался госпиталю. И сопровождающая бригада – в первую очередь конвой, тоже обеспечивается госпиталем. А сопровождающий врач – разве не должен быть из госпиталя?

Говорят, все неудачи происходят от неумения хотеть.

О, я умела хотеть. Но вместе с тем понимала, что путь к достижению цели только один: через Елатомцева. И он – самое главное препятствие на этом пути.

Поэтому не удивилась, услышав:

– Что придумала? Да зачем тебе это? Трудно и опасно. И в госпитале дел много. Нет, я категорически против.

Так закончился наш первый раунд.

Второй состоялся через несколько дней. Я пыталась убедить и доказать, что это разумно и нужно для наших больных.

– Все надуманно, неубедительно, – сказал он, резко оборвав разговор.

На третий раунд я решилась после долгих размышлений и от полной безысходности.

Догадавшись, зачем я появилась в его кабинете, начальник раздраженно опередил меня:

– Ты опять о том же? Я ведь сказал – нет. И кончим об этом.

И тут без рассуждений, словно из души вырвалось, почти по-детски:

– Виктор Федосеевич, мне так хочется поехать! – Слез не было, но интонация явно указывала, что я вплотную приблизилась к этой грани.

До чего сложна, многогранна, непонятна и непредсказуема человеческая натура. Он взглянул на меня – так взрослые смотрят на детей – и сказал:

– Ладно, будь по-твоему.

Он хорошо понимал, что на этом его участие в моей затее не кончается: впереди было начальство ЦКР, которому надо было доказать мое соответствие сложной роли медицинского начальника эшелона.

Он выполнил все взятое на себя.

Тем не менее процедура моего утверждения оказалась достаточно сложной и малоприятной, временами – просто отвратительной. Создавалось впечатление, что на каждой инстанции – а их было несколько – ответственные люди, призванные выносить решение, умышленно стремились создать препятствие претенденту. Это походило на круги ада. Степень «адовости» определялась уровнем должности контролирующего. Чем выше, тем страшней. В основе всей процедуры лежало четко демонстрируемое отношение: тебе не верили. Почему, отчего – не ясно.

Последней инстанцией был начальник центральной комиссии по репатриации.

Побродив по полуосвещенным коридорам неприветливого четырехэтажного здания в центре Рязани, наконец, постучала в нужную дверь. Не получив ответа вошла: громадный кабинет, у противоположной стены за большим письменным столом – тучный человек лет пятидесяти. Лысый, лицо круглое, выражение неприветливое.

Подхожу к столу, называю свою фамилию. Сесть не предлагает. Не спуская с меня изучающего взгляда, достает какую-то бумагу, пробежал ее глазами и опять направил пристальный взгляд на меня. Не дождавшись приглашения, я заняла стул напротив.

Наконец, взглянув мне в глаза, заговорил:

– А вы не боитесь принять на себя такую непростую обязанность? – неприятно резкий голос вполне соответствовал инквизиторскому тону.

– Нет, – ответила я спокойно и твердо.

– А для какой цели вам понадобилось это путешествие?

Вопрос был нелепым, ставил в тупик и вместе с тем чем-то пугал.

В ответ моментально сработало чувство самосохранения:

– Во-первых, мне было предложено, – соврала я. – А во-вторых, отправляются в основном больные из нашего госпиталя, и думаю, будет хорошо, если они поедут под наблюдением своего врача.

Он задумался. И словно адресуя самому себе:

– Вас рекомендовал Елатомцев, мы ему доверяем.

И, обращаясь ко мне, добавил:

– Что ж, посмотрим.

Он начал задавать вопросы, много вопросов: о работе в госпитале и личного характера. В них не было неприятного подтекста. Я отвечала спокойно и искренне.

Это был разговор уже в миролюбивой тональности. Затем он перешел к наставлениям – говорил долго, внушительно, спокойно. Что-то из сказанного я уже слышала на предыдущих инстанциях. А кое-что звучало впервые.

– Имейте в виду, – сказал очень серьезно, – ответственность у вас громадная. Дорога длинная и по времени – долгая. Движение эшелона неравномерное, стоянки на периферических путях временами длинные. Никаких чрезвычайных происшествий случиться не должно, и далее очень строго:

– Вы обязаны все продумать и предусмотреть.

Поняв его определенным образом, я заметила, что эшелон включает конвой, и у него есть начальник.

– Но поймите, – опять некоторое раздражение в голосе, – за все отвечаете вы, особенно за больных. Поэтому очень серьезно отнеситесь к отбору отправляемых, все проконтролируйте сами. Продумайте и разработайте удобную схему размещения больных по вагонам в зависимости от тяжести состояния. Тяжелых больных не берите. Категорическое требование: по дороге не должен умереть ни один больной. Это касается всего пути. Но особенно, слышите, особенно, после пересечения границы. Поэтому, если в пути по нашей стране отяжелеет кто-нибудь из больных, непременно оставляйте его на последней остановке перед пересечением границы.

Он выразительно посмотрел на меня:

– Вы хорошо поняли мои слова? Я вас предупредил: ни одного трупа за границей. Поняли – ни одного!

Он волновался. Отерев лицо носовым платком, взглянул на меня спокойнее.

Разговор получился тяжелым и длительным. Но я поняла, что он согласился с моей кандидатурой. Иначе зачем были эти подробности.

Я не ошиблась. Это было действительно последнее итоговое «напутственное» собеседование – основной инструктаж.

Наше прощание было значительно теплее, чем встреча. В качестве подарка я получила экземпляр новой инструкции «Принцип отбора военнопленных для репатриации» – закрытый циркуляр Наркомата внутренних дел.

Сравнивая этот экземпляр с тем, по которому мы отправляли первый эшелон, я заметила значительное расширение показаний отправки военнопленных на родину. Возрастной рубеж снизился на пять лет. А главное, в список могли включаться больные молодого возраста, лечение которых требует длительного госпитального содержания. Перечислялись и другие более мелкие льготы.

Новая инструкция значительно расширяла наши возможности. Теперь мы получали право отправить практически всех туберкулезных больных, не отдельно, а буквально целым корпусом.

Госпиталь опять захлестнула волна возбуждения, почти равно выраженного по обе стороны колючей проволоки.

Согласно новой инструкции и устного инструктажа, полученного от начальника ЦКР, я поняла, что в «моём» эшелоне будет очень много тяжелых больных. Но все они наверняка имеют шансы доехать до родины. Этой уверенности не было только в отношении одного больного – 18-летнего мальчика Вальтера.

Непонятно почему, 15-летним ребенком он был интернирован, и отправлен на работы в шахте. Из лагеря поступил в госпиталь год тому назад, в связи с легочным кровотечением. При обследовании обнаружен туберкулез, в каждом легком по каверне большого размера. Постоянное присутствие палочек в мокроте. За время пребывания в госпитале необильное кровотечение повторялось дважды.

Состояние удалось стабилизировать в течение последнего полугодия. Заметное ухудшение наступило около полутора месяцев тому назад, однако без признаков кровохарканья. По объективным критериям он безусловно подходил под категорию больных, которых предпочтительнее оставить в госпитале, чем обрекать на дальнюю дорогу. Именно так рассуждал начальник ЦКР.

Но он упустил главное – дорога вела этого больного к дому, к его родному дому и родителям, которых этот ребёнок лишился три года тому назад. И теперь, когда эта дорога вдруг открылась ему – маленькому, больному и измученному, но уже успевшему однажды заглянуть по ту сторону бытия, – в этой дороге хотят отказать.

Не о нем беспокойство отказывающих. Нет! Он принесен в жертву нелепому, кем-то придуманному тезису «Ни одного трупа за границей».

Какая пустая и жестокая нелепость.

Доедет ли он, или нет, если будет взят в эшелон? Не знаю. Думаю, доедет. В борьбу за достижение цели вступит все его существо. А это сила недюжинная!

А если не взять? Да разве можно представить, что, оставшись в пустом корпусе после отъезда всех больных отделения, он переживет свое трагическое одиночество и заброшенность?

Поразмыслив подобным образом, я поняла, что в этой драме участвовать не могу. Сегодня мне дана власть: будь что будет, я возьму этого ребенка.

Отборочная комиссия работала в прежнем составе. На этот раз ей предстояло осмотреть втрое больше больных и здоровых. К последним относилась большая половина всей обслуги 10 корпуса и все немецкие врачи. От зари до зари комиссия не выходила из Зоны.

В комнату, где она заседала, больные входили по очереди непрерывным потоком, по обыкновению с обнаженным торсом и поднятой левой рукой. Почти два дня работы комиссии и, по счастью, ни одного «подмышечного конфликта».

Туберкулезный корпус был последним этапом работы комиссии. Быстрота, с которой он был осмотрен, объяснялась несколькими причинами: во-первых, и это главное, заранее было решено отправить на родину всех больных отделения. Во-вторых, несомненная усталость врачей, и, наконец, их явное нежелание длительно находиться в непрерывном контакте с туберкулезной инфекцией.

Разногласия вызвал только Вальтер. Трое из пяти членов комиссии высказали сомнение: а вдруг повторное кровотечение. В дороге это верная смерть. Его вызывали два раза (второй с моим участием). Я не сказала ни одного слова, но мое мнение, думаю, им было известно. Опять немного поспорили друг с другом и включили его в список.

Я готовилась к отъезду.

Со мной ехала медсестра Вера. Желающих было много, я выбрала ее – бойкую, быструю, сообразительную и

аккуратную девушку. И другую – очень милую, умную и ласковую Машу – повариху.

Согласованно и дружно прошли мы вместе этот короткий, но совсем не простой отрезок жизненного пути.

Сопровождающий конвой наполовину был представлен нашими солдатами во главе с их начальником. Вторую половину составили солдаты из охраны ближайшего лагеря.

Елатомцев был против отправки Вальтера:

– Сильно рискуешь, – сказал он, – а этого делать не стоит. Подумай хорошенько.

А когда я принесла ему на подпись окончательный список для отправки в ЦКР и напомнила, что Вальтер включен, он рассердился и очень раздраженно произнес:

– Если по дороге что-нибудь случится, отвечать будешь ты одна. На меня не рассчитывай – я тебя предупредил.

И подписал.

Наконец, списки были отправлены.

Ждали мы. Ждала Зона.

Несмотря на всю «секретность» наших мероприятий больные отлично знали, что в этот раз предполагается отправка большого числа военнопленных. Я это улавливала из случайно услышанных разговоров, отдельных реплик. Они знали, что с эшелонам еду я.

Зона вновь кипела всеобщим возбуждением, страхом и надеждой.

Общая ситуация в Зоне изменилась. Больные разделились на две неравные половины: уезжающих и остающихся. Среди последних преобладали молодые выздоравливающие. Их ждала выписка и возвращение в лагерь.

Из шести немецких врачей уезжали трое. Трех, наиболее молодых, оставили на работе. Доктор Мюллер-Гегеман и доктор Хазе пережили это с молчаливой покорностью. Доктор Шеффер впал в тяжелую депрессию. В течение суток он лежал на кровати, не ел, ни с кем не разговаривал. Ночью не спал. На утро не встал с постели. Все попытки немецких коллег и нас вовлечь его в разговор оказались тщетными.

Помог случай, явившись с совершенно неожиданной стороны. В середине дня, после обеда, к которому доктор Шеффер не притронулся, у больного из 13-го корпуса был диагностирован острый аппендицит.

Стали готовиться к операции. И тут меня осенила идея: я отправила к доктору Шефферу операционную сестру передать мою просьбу прийти в корпус, так как мы подозреваем острый аппендицит, но не вполне уверены в своем предположении и хотим знать его мнение.

Я совершенно не рассчитывала на успех. Тем не менее он пришел. Подтвердил диагноз и согласился прооперировать больного.

На этом его депрессия кончилась.

Я несколько раз ездила в Рязань. Здесь был наш старт. Эшелон – это длинная цепь обыкновенных товарных вагонов, не сообщающихся между собой. Последнее делает его малопригодным для транспортировки больных, которым в дороге необходимо врачебное наблюдение. А в данной ситуации оно возможно только во время остановок. При движении никакая экстренная помощь неосуществима.

В нашем случае ситуация усугублялась еще и тем, что эшелон шел без определенного расписания, т.е. регулярное наблюдение за больным было изначально невозможным.

Сотрудник, ответственный за формирование и отправку эшелона, Василий Петрович, оказался удивительно симпатичным, обаятельным человеком. С ним мы составили план распределения больных по вагонам, с расчетом максимально уменьшить риск возможных осложнений.

Всех больных туберкулезом мы поместили в отдельный вагон. Остальные были распределены не по диагнозу, а по тяжести состояния. В результате образовалось два «критических» вагона: туберкулезный и второй, с наиболее тяжелыми больными, независимо от диагноза. В эшелоне мы их разместили таким образом, что мой вагон в центре состава оказался между «критическими»

вагонами. А дальше – в обе стороны – вагоны с убывающими по тяжести больными.

Уже с первых дней пути мы убедились – вариант распределения больных оказался оптимальным. Даже на коротких остановках мы с Верой, пробежав несколько шагов в разные стороны, успевали, побывать в обоих «критических» вагонах.

Все вагоны были однотипны. Наш отличался только одним: мы могли свободно открыть его скользящую дверь изнутри. В вагонах, где ехали больные, ее можно было открыть только снаружи. При этом скользящая дверь уходила в сторону, а в образовавшийся проем сверху автоматически спускалась металлическая решетка. Выполнялось это только на длительных стоянках. При остановке поезда к каждому вагону подходил солдат конвоя, открывал дверь вагона и оставался на дежурном посту в течение всей стоянки.

На сравнительно коротких остановках по моей просьбе открывали двери только двух «критических» вагонов.

Внутри вагонов было очень чисто. Чисто и пусто. Никакой мебели. Каждый больной имел лежачее место – большой мешок, до отказа набитый свежим душистым сеном. Великолепный аромат заполнял весь вагон. Наши спальные места были такими же, как у всех пассажиров.

В одном из углов нашего вагона расположилось нечто вроде походной кухни в ее самом что ни на есть примитивном виде.

Основным питанием больных был сухой паек. Но на длительных стоянках довольно часто предоставлялась возможность получить горячее в виде густого супа и обязательно чая. Для этого на нашей кухне имелись две громадные кастрюли и два таких же гренадера-чайника. Нагревательными приборами служили трехфитильные керосинки.

Подозреваю, что современное поколение не знает, что это такое. Я лично этого слова не слышала, пожалуй, более 20 лет.

Взяв Вальтера, с эгоизмом отчаянной юношеской смелости, взяв вопреки множеству предостерегающих голосов, я, конечно, не была спокойна. Я хорошо понимала, что даже небольшое кровотечение станет его концом. Чем больше об этом думала, тем громче отдавались в ушах голоса «против». И вместе с тем я понимала, что никакие силы не заставят меня добровольно оказаться от принятого решения.

Риск был велик. Но цель его оправдывала.

Доминировала мысль – этот ребенок скорее всего погибнет. Но может, Бог даст, перед концом он увидит родителей и вдохнет запах родного дома.

А может быть...

О, тогда это были только мечты. Хотя эра специальных противотуберкулезных препаратов стояла уже на пороге.

Приятный облик и дружеское расположение ко мне Василия Петровича толкнули меня к явно опрометчивому шагу. Ища товарищеского сочувствия своим переживаниям, я доверительно сообщила ему, что везу довольно тяжелого мальчика с двумя кавернами в легких. Боже мой, куда девалась его обычная мягкость? Резким тоном он произнес:

– Разве вы не знаете приказа? Вы не имеете права брать на себя такую ответственность. Больной должен остаться здесь. Я за этим прослежу.

Испугалась я не очень: прямого отношения к этому вопросу Василий Петрович не имел. Но было очень неприятно ощущать себя жертвой собственной слабости. Урок я получила на всю жизнь.

Наконец, эшелон, готовый к приему пассажиров, встал на запасной путь на значительном удалении от вокзала. Мы с Верой почти целый день провели в Рязани. Вокруг состава ходили железнодорожники, рабочие, солдаты. Публику не пускали. При нашем появлении подошел солдат узнать, кто мы. Я начала возмущаться, но подбежал как ни в чем не бывало Василий Петрович, и все успокоились.

Втроем мы обошли все вагоны. Первый и последний предназначались для конвоя.

Кропотливая работа – уточнение списков больных соответственно вагонам заняла несколько часов.

На следующий день начали привозить больных. Первыми были обитатели 14-го корпуса – самый трудоемкий контингент для транспортировки: много больных на носилках, на костылях, в громоздких гипсовых повязках. За ними следовали терапевтические больные, среди них – тоже многие на носилках. Работали до наступления сумерек. Туберкулезных больных оставили на завтра.

Вернувшись, зашла в Зону: тишина и немного жутковатая пустота. Загораются фонари на высоких столбах. А половина окон в корпусах пугает своей темнотой.

Легкая грусть и очень большая радость.

Захожу в туберкулезный корпус. Всеобщее возбуждение. Никто не спит. Все в движении, взволнованы, на лицах растерянность, недоумение. Вальтер, как все, в панике. Оказывается, кто-то пустил слух, что эшелон уйдет сегодня ночью. Всех взяли, а их оставили.

Рассказываю, объясняю, успокаиваю. Наконец, как будто поверили.

В 12 часов следующего дня все больные уже были размещены по вагонам. К часу дня, попрощавшись с сотрудниками, в сопровождении Веры и Маши, приехала я.

На прощание Елатомцев очень искренне сказал:

– Буду очень рад, если твоя безумная затея не кончится провалом.

И крепко пожал мне руку.

Боже мой, никто никогда не знает, что впереди.

Мы с Верой обошли все вагоны. Жалоб не было. Все устроились относительно удобно. Тесноты не было. Во всем эшелоне всеобщее ликование. И Вальтер – его полноправный участник. Он сидел на своем матрасе, обхватив руками тощие колени и улыбался. Глаза блестели, румянец стал ярче.

Вдруг появился Василий Петрович и, словно продолжая прерванный разговор, сказал:

– А, знаете – ваш-то ничего, я с ним познакомился. Может, и впрямь доедет, глядишь, довезете.

И тут же, словно спохватившись:

– Но, если что – сразу оставляйте его здесь.

Я промолчала.

Все вздрогнули, когда пронесся первый гудок.

И тотчас, словно в ответ, с шумом и лязгом, задвигались и запирались двери вагонов. Третий гудок – эшелон дрогнул. Стоя у открытой двери нашего вагона, я еле удержалась на ногах.

Итак, около трех часов солнечного августовского дня из Рязани тронулся состав особого назначения. Он шел на Запад через Москву.

Я с детства люблю поезда. Есть что-то таинственное, завораживающее в ритмичном рисунке звуков. Если закрыть глаза и отдаться магии движения, реальная действительность теряет очертания, а пестрая мечта подхватывает тебя.

И захотелось мне вернуться в края той мечты.

Я легла на свой душистый, немного колючий матрац и закрыла глаза.

Увы! В жизни никуда нельзя вернуться. Уйти от действительности мне тоже не удалось.

Не останавливаясь, поезд шел совсем малой скоростью.

После бурных предотъездных дней на душе вдруг стало удивительно тихо и спокойно. А может, ничего и не было? А все беспокойства и страхи придуманы слишком развитым воображением? А может...

Вздрогнувший вагон прервал течение мыслей. Поезд остановился. Откуда-то издали донесся женский голос: «Москва!»

Боже мой, сколько же я спала?!

В соседнем вагоне с шумом открыли дверь, этот звук быстро побежал вдоль состава.

Я вышла. Поезд стоял в «чистом поле». Вдали просматривались контуры вокзала. Эшелон поставлен на далекие подъездные пути.

Мы с Верой пошли в обход. В туберкулезном вагоне было тихо. Многие спали. Вальтер лежал на спине с открытыми глазами. Прежнее возбуждение спало. Серое, слегка одутловатое лицо выглядело усталым. Увидев меня, улыбнулся. Основные клинические показатели были вполне удовлетворительными.

Мы обошли всех. Спокойствие и безмятежность.

От вокзала до моего дома на Донской улице – около часа езды.

Возникшая еще до отъезда мысль повидать маму отпала сама собой. Оставить эшелон я не имела права. Слава Богу, мама моих намерений не знала и меня не ждала.

В Москве нас задержали на целых три дня. Начальник конвоя сообщил «по секрету», что проверка предстоит очень серьезная.

И действительно, в ней участвовало много людей. Все они были в штатском. Знакомясь со мной, называли свои фамилии, были весьма любезны. Их служебное положение мне было неизвестно. Начальника я вычислила по гордой осанке, громкому голосу и категорическому тону. Сначала проверяли документацию. К этой работе меня не привлекали.

Надо сказать, что на всех этапах следования эшелона, где проводились проверки, я неизменно была моложе всех, в них участвующих. Почти всегда на лицах знакомящихся со мной взрослых серьезных людей мелькало удивление. Некоторые выражали его словами. Поэтому мне всегда казалось, что проявленное при знакомстве почтительное внимание, относится не ко мне лично, а к моей высокой должности.

Двухсуточная проверка констатировала нашу пунктуальность и организованность – ни одного замечания.

Утром третьего дня ко мне подошел начальник комиссии:

– Ина Павловна, а теперь мы идем в вашу епархию.

Вся компания направилась к эшелону.

В просторном вагоне вдруг становилось очень тесно. На лицах больных беспокойство. Задаваемые вопросы

были стандартно-примитивны: откуда родом, где воевал, где взят в плен, что делал до войны, кто ждет дома и др.

Больные, в основном простые люди, отвечали односложно. Встречались, однако, и представители культурного слоя. Одному из них начальник – его звали Никита Семенович – задал неординарный вопрос:

– Какие чувства вы испытываете, покидая Советский Союз?

Больной был явно озадачен. Подумав, он сказал:

– Сейчас я в состоянии испытывать только одно чувство: я возвращаюсь на родину.

Войти в туберкулезный вагон рискнули не все – значительная часть бригады осталась у наружной двери вагона. Да и вошедшие долго не задерживались.

Больные в основном лежали. Кое-кто спал. Вальтер сидел в своей излюбленной позе, обхватив руками колени. Лицо серое, видимо от испуга, бегающий взгляд. На вопрос, как он переносит дорогу, ответил «хорошо» и тут же закашлялся и долго не мог отдышаться.

Итоговое заседание состоялось вечером того же дня. Его проводил Никита Семенович. Теплым дружеским тоном поблагодарил за хорошую подготовку эшелона, сказал несколько приятных слов по адресу администрации госпиталя.

И вдруг, железным тоном обращаясь ко мне:

– А парня вашего, Ина Павловна, придется оставить в Москве – он и до Смоленска не доедет. Мы таких не пропускаем.

Я была ошеломлена. Внимательно глядя на него, слушала его доводы, но в голове вихрем проносились мысли: если я не оставила его в госпитале, откуда же у меня найдется столько жестокости, чтобы показав путь к дому, вдруг бросить его на дороге? Вылечить его нельзя, но пусть он умрет на руках у своих родителей. Он так молод. Он не успел сделать в жизни ничего плохого. Он не воевал, не держал оружия в руках. Почти треть жизни провел в страданиях. Так пусть хоть смерть его будет ласковой – в родительском доме.

И тут я почувствовала, что Бог подсказывает мне ответ и придает силу словам. Как можно более твердым голосом я ответила:

– Вот когда это случится, я оставлю его в Смоленске.

Это был психологический турнир – кто сильнее. Я поразила беспрекословности своего тона. Видимо, удивился и он. И перестал спорить.

Ранним утром следующего дня мы покинули Москву.

И текло время, медленно и монотонно. Дни сменялись ночами. Выходило и заходило солнце. Зажигались и гасли звезды. И под стать этому многовековому однообразию, то прибавляя, то убавляя скорость, останавливаясь на короткое или продолжительное время, все дальше и дальше на Запад шел наш эшелон.

Жизнь в нем, поначалу неустроенная и тревожная, постепенно входила в устойчивую колею.

Наладился дорожный быт. На остановках мы с Верой делали медицинский обход по вагонам. Вскоре стало очевидным, что в помощи нуждаются лишь больные, находящиеся в так называвших «критических» вагонах. Остальные были хорошо настроены, легко переносили дорогу и не жаловались.

На всякий случай в каждом из этих благополучных вагонов я назначила «ответственного дежурного». В случае необходимости, когда на коротких остановках двери не открывались, стуком в дверь он должен был подать сигнал. Его услышат дежурные солдаты, проходящие вдоль состава даже на очень коротких стоянках. Надобность в срочной помощи, слава Богу, не возникла ни разу.

Каким удивительно спокойным, неповторимо прекрасным оказался отрезок пути Москва – Смоленск. За сколько времени проходит это расстояние современный пассажирский поезд? Полдня, день?

Мы ехали около десяти дней.

Стояла золотая пора уходящего лета. Непрерывный ряд теплых солнечных дней. Неравномерный ход поезда не вызывал раздражения, а развлекал. Общее настроение пассажиров было адекватным великой цели: они

ехали домой. Все остальное не имело значения. Путевые неудобства и трудности, болезнь не могли заглушить бьющей ключом радости.

Я сидела у открытой двери нашего вагона. Поезд шел очень медленно. Теплый ветер приятно обдувал лицо, играл волосами. Пробегали разные пестрые мысли: одни развлекали, другие тревожили, третьи рождали вопросы.

Вот они, эти больные, сломленные и униженные люди, едут в разоренную и уничтоженную страну. А что ждет их там? Некоторые знали, что от прошлого у них не осталось ничего: родные, дом, имущество – все погибло. Но родную землю под ногами и небо над головой у них никто не может отнять. Сознания этого сегодня, сейчас полуживым людям в телячьих вагонах было вполне достаточно.

Завтра принесет свои тревоги, отчаяние, нерешенные и не решаемые вопросы. А сегодня они счастливы. Они едут на родину. Как она их встретит?

Вальтер держался мужественно. Еще в госпитале я объяснила ему ситуацию: его судьба в его собственных руках. Он этого не забыл. И пока все, слава Богу, шло вполне сносно.

Незадолго до Смоленска в моем присутствии закашлялся – появилась кровь. Я испугалась не меньше его. Он с ужасом спросил:

– Это может быть, как тогда? – имея в виду кровотечение.

Приняли меры. Успокоила, как могла.

Обошлось.

В часы безостановочного хода поезда я лежала на душистом матрасе и смотрела в проем открытой двери. В него, как в раму, вставлялись привычные и любимые картины русской природы средней полосы. Сменяя друг друга, проплывали леса: то хвойные, темные и густые, то лиственные, легкие и воздушные с трепещущей и переливающейся на солнце листвой. Мелькали прозрачные перелески, холмы. Вдруг на миг сверкнет гладкая повер-

хность озера. И над всем этим синее небо такой густоты и сверкания, что начинает резать глаза.

Остановки врывались внезапно. Иногда это были маленькие станции, иногда – более крупные. Эшелон, как правило, останавливался, не доезжая до них. Порой он делал остановку в прямом смысле «в чистом поле» – на километры вокруг никаких признаков человеческого жилья. Иногда стояли мало: 10 – 20 – 30 минут. Чаще – долго: 5 – 6 – 7 часов. Случалось стоять сутки и более. Никакой закономерности. Движение редко происходило на нормальной скорости. В основном ехали медленно. Если бы не божественная природа и роскошные солнечные дни, можно было бы сойти с ума.

Два раза мы пережили короткий оглушительный ливень. Это было фантастическое явление. Оба раза мы заметили ливень издалека: он с бешеной скоростью мчался нам навстречу. Обрушив на поезд тонны воды, ливень умчался в сторону Москвы. Спустя несколько дней, второй ливень – такой же обильный и штормовой, застал нас на стоянке. Он не мчался, как его предшественник, он прямо повис над эшелоном и висел около получаса. Шум воды заглушал голоса. Мы не слышали друг друга.

А еще через несколько дней произошло не менее интересное, но явно более страшное событие – мы воочию узнали, что такое «гром среди ясного неба». Поезд шел без остановки медленной скоростью часов 10 – 12. Ясный солнечный день, на небе – ни облачка.

Вдруг, неизвестно откуда – порыв вихря, ночная тьма, ослепительное сверкание и разрывной удар грома. Ни на минуту не смолкая, меняя тональность, его рулады перекатывались над нами. Дугообразные, перпендикулярные, зигзагообразные, ступенчатые молнии, разрывая черные тучи, падали справа и слева от вагонов.

Машинист прибавил скорость. Поезд мчался, убегая от грозы. А она не отставала. Она висела над нами. Адский марафон продолжался не менее получаса. И вдруг наступила тишина: гроза исчезла так же внезапно, как и появилась.

На этом сравнительно длинном отрезке пути случилось несколько курьезов, иногда совсем не безопасных.

Леса были полны грибов. Однажды состав остановился среди густых зарослей. Гигантские сосны почти вплотную подходили к железнодорожному полотну. Шустрый солдат конвоя отправился за грибами. Белые, подберезовики и подосиновики невероятной красоты и свежести были хорошо видны из вагона. Солдат увлекся – отошел чуть дальше. Раздался гудок и поезд тронулся. Все происходило у нас на глазах. Солдат отчаянно рванулся к составу. Слава Богу, последний вагон заканчивался узкой площадкой с поручнями. Отставшему удалось за них ухватиться и вскочить на площадку. Бешенство, в которое впал начальник конвоя, описать невозможно. Во всяком случае, целая серия внеочередных дежурств у вагонов на больших стоянках солдату была обеспечена.

Сомнительная слава бедного любителя грибов смутила другую мятежную душу. Это случилось через несколько дней. Был теплый солнечный полдень. С середины ночи эшелон шел без остановки на малой скорости. Мы втроем устроились на импровизированной скамейке у открытой двери нашего вагона и любовались березовым лесом, по опушке которого шел поезд.

Внезапно поезд остановился. Прямо напротив двери, буквально в двух шагах от нас мы увидели большой, нет, громадный белый гриб. Он имел толстую булавовидную ножку и большую темно-коричневую бархатную шляпку.

Мы с Верой не успели оглянуться, как Маша, выпрыгнув из вагона, в один миг сорвала гриб. Повернувшись, к нам, она победоносно подняла руку с добычей и начала приплясывать.

В этот момент поезд тронулся. Швырнув гриб внутрь вагона, она подпрыгнула и бросилась животом на уже движущуюся площадку. Весь ужас заключался в том, что площадка вагона была достаточно высоко над землей.

Прыгнув, Маша коснулась ее только верхней частью груди. А две трети ее полноватой фигуры оставалась снаружи. Помочь мог только Бог. Он помог. В момент, когда

ее грудь коснулась площадки, мы сумели ухватить ее за руки и с нечеловеческим усилием втянуть в вагон. После долго сидели, не проронив ни слова. Маша, еле дыша, распласталась на полу. А гриб даже не потерял своей бархатной шапочки.

Как безгранична емкость человеческих ощущений: на бумагу ложится эпизод 56-летней давности, а в душе вновь смертельный испуг и та же трепетная радость спасения.

А совсем недалеко от Смоленска случился трагикомический эпизод, который тоже трудно забыть. Стало известно, что на подъезде к Смоленску предполагается длинная стоянка. Воспользовавшись ею, Маша сварила суп-лапшу для больных и успела их накормить. Вскоре поезд тронулся. Мы с Верой были чем-то заняты в глубине вагона, а Маша мыла посуду. Слив всю воду в громадную кастрюлю, в которой варилась лапша, она выплеснула ее в открытую дверь вагона. В это время раздался оглушительный свист.

Выглянув, мы увидели потрясающую картину. Поезд шел мимо небольшого полустанка. На маленькой платформе стоял высокий, очень худой железнодорожник в форме, с красным флажком в вытянутой руке и, надрываясь, дул в свисток. Оказалось, что все содержимое Машинной кастрюли пришлось прямо на него. Вся его фигура, начиная с околыша железнодорожной фуражки, была покрыта белыми червячками лапши. Она в виде бахромы свисала на лицо, словно белой пелериной накрывала плечи, зацепилась за бляху пояса и образовала венчик вокруг колен. Красный флажок сделался полосатым. Несчастный был так ошеломлен, что свистя продолжал держать его в вытянутой руке. Поезд шел очень медленно, никак не реагируя на оглушительный свист.

Поняв это, несчастный перестал свистеть, и до нас долетела целая феерия фантастической комбинации слов ненормативной лексики (как принято говорить сегодня). Нам было бесконечно стыдно и очень жалко этого добросовестно исполняющего свои обязанности человека. Но вся его фигура – возмущенная, свистящая и ругающая-

яся – выглядела так комично, что удержаться от смеха было невозможно. И мы совершенно бессовестно громко хохотали до слез.

Наконец мы, слава Богу, добрались до Смоленска.

Обход больных – задача номер один. Начинаем как всегда с «критических» вагонов.

Я иду в туберкулезный, Вера – в общий.

Мы с Верой – ровесницы. В отношении туберкулезной инфекции находимся в равных условиях. Но я, как старшая по должности, в туберкулезный вагон, несмотря на ее горячие протесты, неизменно хожу сама.

Обнаруженная в вагонах картина оказалась удручающе плачевной.

Большинство больных находились в горизонтальном положении, лежали молча. На вопросы отвечали вяло. Много жалоб на слабость, общую усталость, недомогание. Больные действительно сильно устали от дороги. К этому было тем более оснований, что последний перегон без остановок длился более 12 часов. Стояла неизменно солнечная погода. В закрытых вагонах было жарко, становилось все труднее дышать.

Вальтеру было особенно плохо. Он полусидел, дышал часто и тяжело. На лбу крупные капли пота периодически скатывались на лицо. Пульс частый, давление низкое.

Заметно ухудшилось состояние двух больных в последнем, вполне благополучном вагоне. Пришлось перевести их в общий «критический вагон». Эта процедура сложная, связана с переделкой документации, т.к. каждый больной был закреплен за определенным местом.

Распахнутые двери вагонов, ряд уколов, которые пришлось немедленно сделать, ободряющие разговоры с отдельными, наиболее угнетенными больными и, наконец, тарелка только что сваренного Машей супа, заметно улучшили общую обстановку. В вагонах зазвучали голоса, вспыхивал смех. Вальтер долго не приходил в свое обычное состояние.

А что же будет дальше? – этот тревожный вопрос возникал передо мной все чаще.

Общая проверка документов проходила и здесь по стандартной схеме.

Никаких нарушений найдено не было. Осталось неясным, для какой цели все члены комиссии зашли в вагон к немецким врачам и задали всего несколько, на мой взгляд, ничего не значащих вопросов.

На третий день пригласили меня. Комиссия из трех человек. Разговор велся в очень официальном, временами резком тоне. Тема, уже навязшая в зубах, о тяжелых больных, необходимости более тщательного контроля, именно здесь, в Смоленске. Лучше перестраховаться и ненадежных оставить здесь. И уже опостылевший рефрен: «За границей – ни одного трупа, будете отвечать».

Сейчас я думаю и удивляюсь: почему я ни разу не спросила, как я буду отвечать, если условие будет нарушено. Теперь это трудно понять: просто боялась. От страха. Страшно было все: и молчать, и говорить.

Ведь это был 1948 год.

Не менее удивляет и то, почему страшая меня санкциями, никто из них не создал объективную медицинскую комиссию, которая совершенно очевидно не пропустила бы Вальтера? Почему они ориентировались только на меня одну, молодую и неопытную?

Этому объяснения не нахожу до сих пор.

На их вопросы я отвечала так же, как в Москве: угрожающе тяжелых больных в эшелоне нет. А состояние интернированного мальчика, больного туберкулезом, к которому всюду возникает повышенный интерес, остается стабильным в течение всего проделанного пути.

На этом разговор и закончился. Я уже встала, собираясь попрощаться. Вдруг старший по званию, уже совсем не казенным, а простым человеческим голосом, я бы сказала, товарищеским тоном, произнес:

– Послушайте, доктор, ну зачем вам нужны эти сложности? Зачем вам нужна эта ответственность? Эти трудности? Вы так молоды, у вас нет опыта. А сложности будут большие. Дорога еще очень длинная. Вы берете на себя груз, размеры которого не представляете. А если что

случится? Послушайте нас – оставьте этого больного в Смоленске.

Его тон тронул меня. Парировать удар оказалось гораздо проще, чем отстаивать свою позицию в «бархатных» тонах.

Что я могла ему ответить? А он ждал. Таким же мягким тоном я сказала:

– Спасибо, я подумаю.

Он внимательно взглянул на меня. Полагаю, что все понял. На этом мы расстались.

Из темного кабинета я вышла на яркое солнце. Что я чувствовала? Какие мысли бродили в голове? О том, чтобы оставить Вальтера в Смоленске, не могло быть и речи. Я повезу его дальше. Я довезу его до цели.

Судьба этого мальчика волновала всех. О нем говорили в каждом вагоне. Я это знала по случайно услышанным репликам, отдельным замечаниям. И только под Москвой один смельчак – парень из дальнего вагона, лет на пять старше Вальтера, отважился спросить меня о его самочувствии. Я ответила. После этого вопрос приобрел права гражданства. Я не возражала.

И вдруг в Смоленске, весьма интеллигентный больной, долго извиняясь, попросил разрешения и, получив его, наконец, задал вопрос: правда ли, что я собираюсь оставить Вальтера в Смоленске?

– Об этом волнуется весь эшелон, – добавил он.

Я успокоила его.

Думаю, что самым главным фактором выживания Вальтера было сознание, что он не одинок.

Отрезок пути Смоленск – Кенигсберг был тревожным и очень хлопотным. Сказывалась общая усталость. На остановках больные уже не стремились, обгоняя друг друга, к распахнутым дверям вагона. Роскошь русской природы их перестала интересовать. Во всех вагонах звучали жалобы. Заметно увеличилось число больных, состояние которых поддерживалось лекарствами и уколами.

А Вальтеру уже не хватало трех уколов в сутки.

Наконец мы добрались до Кенигсберга.

Вспоминается когда-то прочитанное описание этого города: красота европейского стиля, улицы, застроенных изящными домами из красного кирпича.

Красоты города на мою долю не досталось – ее уничтожила война. А красный кирпич оказался в избытке.

Но, увы, – ни одного сохранившегося дома. Всюду, куда ни кинь взгляд – бесформенные кучи красного кирпича: маленькие, средние и громадные. В остатках разрушенных домов лишь угадывались очертания улиц и площадей. Картину разрушения дополняли удивительная тишина и запустение: ни людей, ни собак, ни машин.

Нас принимали в небольшом нетипично-скромном здании, уцелевшем на окраине города.

Эта последняя проверка была особенно тщательной. Схема – стандартная.

Разговор со мной был более жестким, чем на предыдущих этапах. На мое утверждение, что угрожающих больных в эшелоне нет, руководитель группы, слегка повысив голос, повторил только что сказанное:

– Вы сами должны быть заинтересованными в соблюдении всех предосторожностей, поэтому я советую: пройдите еще раз по вагонам, оцените каждого больного критически. И всех, слышите, всех, кто вызовет хоть малейшее сомнение, оставьте здесь.

Я хотела возразить – он перебил меня и продолжил:

– Вы должны иметь в виду, что по Польше поезд идет трое суток без остановок.

Это был шок.

Собравши последние силенки, я как можно спокойнее произнесла:

– Я сегодня обошла все вагоны. Именно на основании этих данных я сообщила вам свое заключение.

– Смотрите! – сказал он с некоторой угрозой.

И мы расстались.

Отъезд эшелона предполагался на следующее утро.

Во второй половине дня, когда проверка была закончена и подписаны все документы, произошло событие громадной политической значимости.

В торжественной обстановке абсолютной тишины больным было объявлено, что, начиная с этого момента они перестали быть военнопленными. Теперь они свободные граждане освобожденной Германии.

Хорошо поставленный сильный, красивый баритон медленно произносил слова. Конец фразы он голосом поднял, как знамя. Речь кончилась, а казалось, что в сгустившейся тишине еще звучат последние слова.

Боже мой, что случилось с больными! Примерно через полчаса я повторно прошла по вагонам.

Это были совсем другие люди. Лежали только те, которые по своим физическим возможностям не могли встать. Остальные возбужденно двигались, жестикулировали, взволнованно говорили, перебивая друг друга. Некоторые плакали, не стыдясь и не вытирая слез. Казалось, что говорят все. В сонме множества голосов нельзя было разобрать слов, но это никого не смущало. По возбужденным лицам было ясно, что все всё понимают.

Вальтер сидел, обхватив худыми руками острые колени, раскрасневшийся и улыбающийся, что-то оживленно говорил соседу. А тот, стоя на коленях на своем матрасе, жестикулировал в такт произносимым словам. Оба явно не слушали друг друга и счастливо улыбались.

Вот она – великая роль психологического фактора в действии. Не в научном эксперименте на отдельных опытных экземплярах, а в реальной жизни громадного человеческого коллектива. Ничего не значит, что завтра болезнь и усталость приглушат эту вспышку радости. Сегодня она сделала свое доброе и очень нужное дело.

Я вернулась в свой вагон. Маша и Вера были чем-то заняты в хозяйственном отсеке.

Я села у открытой двери и осталась со своими мыслями.

А мысли, тяжелые, как пудовые гири, давили и угнетали.

Три дня езды без остановки – испытание для всех больных, трудно переносимо для пассажиров двух критических вагонов и смертельно для Вальтера. Оставить его в Кенигсберге невозможно.

Это уже вопрос не его – Вальтера, а моего личного спасения. Оставленный здесь, он умрет на другой день. Это совершенно очевидно. А я, сколько бы ни прожила на этом свете, понесу с собой тяжесть неизбежного греха за ничем не оправданное малодушие.

Так что же делать?

Я оказалась в тупике.

Подошла Вера. Прослышав о трехдневном безостановочном прогоне, волнуясь, спросила:

– А как же Вальтер останется без уколов? Он же умрет!

Может, – подумала я, – вполне может! А вслух сказала:

– Что-нибудь придумаем.

Вера посмотрела на меня с некоторым сомнением, но промолчала.

Предполагалось, что завтра к полудню эшелон пересечет границу. Все, связанные с Вальтером вопросы, надо решать сегодня.

Я продолжала сидеть у открытой двери и невидящими глазами смотрела в надвигающуюся ночь. А внутри подобно привычному ритму колес, звучало:

– Что делать? Отступить нельзя! Что делать?

Сегодня эти вопросы явно не решались.

Вместо сна тяжелая полудрема. Хаотические сновидения без начала и конца. Искала какой-то предмет и не находила....

Наступило утро, и ответ на мучительный вопрос был готов. Думаю, он, независимо от моих сумбурных мыслей, давно сформировался в подсознании. Предыдущий день был перегружен событиями. Второстепенные предметы закрывали то, что жило в глубине. Ночь устранила все постороннее.

Все стало просто и ясно. Рядом с больным в течение этих трех дней должен находиться медик. Я не имею права приказывать медицинской сестре провести три дня в вагоне, где 80 процентов больных имеют открытую форму легочного туберкулеза. Этот приказ я имею право отдать только себе самой.

Так был решен этот сложный вопрос.

За час до отхода поезда, преодолев неподдельный ужас моих спутниц, собрав все необходимые медикаменты, я переселилась в туберкулезный вагон. Мое появление среди больных в виде постоянного пассажира вызвало, как бы поточнее выразиться, недоуменное восхищение. Они отлично понимали, в каком критическом положении находится Вальтер, поняли и значение моего поступка.

В вагоне они сделали кое-какое перемещение. Больные максимально сгрудились, освободив мне угол под вентиляционным окошечком. Отгородили его простыней. В результате у меня получились отдельные «апартаменты». Поведение больных заметно изменилось. Они практически перестали ходить по вагону, разговаривали только шепотом, чаще молчали.

Вальтер сначала обрадовался, потом вдруг задумался. Заметно разволновался. А потом вдруг спросил:

– Вы боитесь, что я могу не доехать до дома?

Потребовалось много всяких доводов, чтобы он перестал сосредотачиваться на этой мысли.

Наконец, поезд тронулся. Вскоре мы пересекли границу.

Началось трехдневное «беспосадочное» путешествие по Польше.

Поезд шел очень неровно, то уменьшая, то увеличивая скорость. Временами так медленно, что, казалось, можно выйти из вагона и пойти с ним в ногу. Это создавало удручающее настроение. Конечная цель представлялась недостижимой. Иногда скорость движения увеличивалась, постукивание колес становилось отчетливее. И конечная цель казалась совсем близкой. Но радостное ощущение длилось недолго. Вскоре поезд опять переходил на «шаговый» режим. Конечная цель вновь терялась где-то вдали.

Весь трехдневный путь через Польшу в закрытом вагоне я прожила без всяких внешних впечатлений.

У меня была конкретная цель. Ее достижение определялось работой, которая и выполнялась.

Малую скорость Вальтер переносил легче. Большую часть времени он дремал, оживлялся редко. В эти моменты с некоторым трудом присаживался, вступал в разговор. Задавал простые вопросы: где едем, какое сегодня число, скоро ли конец пути? Иногда упоминал о родителях. Они уже не очень молодые – он третий ребенок. Две старшие сестры – взрослые. Отец – юрист, не воевал. Мать – художница по тканям. Странно – он ничего не знал о них более трех лет. И ни разу не усомнился в том, что они живы и ждут его.

Один раз спросил, сколько мне лет – я ответила. Он надолго замолчал, потом объявил удивленно полувопросом:

– Так между нами разница всего 5 лет, – и прибавил через некоторое время:

– Удивительно!

Он заметно терял силы. Страдал от нарастающей одышки. Немного оживлялся после очередного укола. В последний день пути их потребовалось шесть за сутки. Но в целом, можно сказать, что путешествие он перенес сносно.

Наступил вечер третьего дня безостановочного движения состава. Поезд шел очень медленно. Колеса не стучали, а как-то мелодично шелестели по рельсам. В вагоне было очень тихо – почти все спали. Лишь в противоположном углу возникал и гас шепот. Я только что сделала Вальтеру укол, и он, повернувшись на бок, задремал. До этого был приступ надсадного кашля, после которого он стал задыхаться. Очень страдал.

Больные все труднее переносили дорогу, теряли силы и слабели на глазах. Вчера днем еще один больной, пожилой, истощенный человек, после длительного кашлевого приступа, задыхаясь, воскликнул:

– Я сейчас умру.

Слава Богу, этого не случилось. После лекарства ему стало лучше. Сегодня он тих и спокоен.

Мне казалось, все это никогда не кончится. Поезд уже не может остановиться.

Я удалилась в свои «запростыночные» апартаменты. Спать не хотелось. Обрывки неконтролируемых мыслей сплетались в причудливую сеть. Сначала мысли были легкие, радостные. Цель казалась уже не такой недостижимой. Стук колес опять перешел в шелест.

Внезапно мысли приняли другое направление.

Все окружающее, потеряв прежнюю яркость, стало удручающе серым. Вдруг встал вопрос: зачем все это?

Почему, собственно, я должна жить в постоянном страхе и тревоге за чужую жизнь?

Для чего эти мучительные переживания?

Для чего вообще этот эшелон?

Как я в него попала?

А теперь, запихнув этих несчастных людей в телячьи вагоны, волнуясь и страдая за каждого, везу их – куда?

Домой! А есть ли у них дом?

Эти обездоленные получеловеки все забыли, они полны надежд. А что ждет их там?

Задают ли они себе этот вопрос?

Возможно.

Но по-настоящему он встанет перед ними позднее. Сейчас они живут только одной реальностью: добраться до дома. Среди них действительно много тяжелых больных. Дух их воспрял и сделал свое дело: болезнь осталась, а человек ожил.

Все дальше и глубже уходили мысли в эти размышления.

И все отчетливее вырисовывалась эта нелепая круговерть. Очень ярко представилось мне, как совсем недавно сильные, здоровые и крепкие люди, движимые злой волей вторглись на чужую землю

Защищавшиеся выстояли. От былого величия пришельцев осталась кучка сломленных и раздавленных морально и физически людей. И вот теперь жалкие остатки некогда могущественной армии по той же дороге, но уже не в боевом строю, а лежа на травяных матрацах в телячьих вагонах, под конвоем, возвращаются на родину. Какой трагикомический парадокс!

Я не поняла, кто произнес эти слова. И вообще что-то вдруг резко изменилось. Я открыла глаза и с удивлением обнаружила, что мы стоим. Снаружи доносились знакомые звуки открываемых дверей.

Значит, я спала.

Вальтер лежал на спине и улыбался:

– Мы приехали!

Голос был совсем другой – в нем звучали победные нотки.

В вагоне уже никто не спал. Переговаривались, как обычно, шепотом.

Я не могла понять, где мы стоим. В этот момент солдат открыл дверь нашего вагона. Лихо и весело произнес:

– Мы приехали!

Боже мой, неужели это правда? И все позади? Посмотрела на часы – было 5 часов утра.

Я вышла из вагона. Совсем темно. Где стоим – непонятно. Вокруг ни одного строения. Ни станции, ни города. В вагонах было шумно от множества голосов. Где-то, очень далеко, мелькнул яркий свет и погас.

И вдруг, или мне показалось, еле слышные звуки музыки.

Внезапно – резкий гудок паровоза.

Я еле успела вскочить в вагон.

Опять «шаговый» режим движения. И вновь мельканье света вдали.

Неожиданно где-то совсем близко – справа, слева, спереди – понять невозможно, – десятки сливающихся голосов грянули приветствие, подобно нашему многократно повторяемому – урррррррааа!

Оно гулким эхом пронеслось вдоль всего эшелона, вернулось обратно, столкнулось с новой волной, и мелкими руладами рассыпалось в разные стороны.

А свет все приближался, стал ярким и уже не исчезал.

Появились очертания домов. И в нарастающем ослепительном свете ламп, фонарей, юпитеров я увидела людей, – их было великое множество. Двумя, тремя ряда-

ми они стояли по обе стороны железнодорожного полотна, образуя сплошной коридор, по которому медленно шел поезд. У многих в руках были разноцветные флажки. Размахивая ими, они радостными криками приветствовали эшелон, а поезд, словно заразившись общей торжественностью, очень медленно и важно двигался по живому коридору.

Вдалеке разорвалась петарда, за ней – другая, третья. И вдруг десятки разноцветных воздушных шаров заковыляли в воздухе.

А музыка звучала все громче. Больные скопились у открытых дверей, их радостные реплики вплетались в общее торжество звуков.

Поезд шел вблизи домов. На подоконниках распахнутых окон, на балконах, на крышах домов – всюду люди. Отовсюду громкие приветствия.

Поезд остановился у площади, освещенной множеством фонарей. Именно этот свет нам так приветливо мерцал издалика.

Музыка зазвучала громче. Совсем близко вступил второй оркестр. Расширяя и варьируя мелодию, откликнулся третий. Все потонуло в искрящихся и сверкающих звуках, от которых ощутимо дрожал воздух.

И вдруг взошло солнце.

В его лучах мгновенно умерли все фонари. Солнце широко и щедро залило всю площадь, тысячекратно увеличивая красоту, созданную человеком.

Из окон, на крышах и балконах люди приветственно махали разноцветными платками, флажками, пускали воздушные шары. С подоконников, с балконов свешивались пестрые ковры, яркие дорожки и просто куски цветных тканей. И всюду цветы, море цветов.

Все это трепетало на ветру и сверкало в ослепительных лучах солнца. И над всем необозримым пространством гремела музыка.

Торжественные бравурные марши сменялись легкими воздушными вальсами, словно обгоняя их, вплеталась шаловливая полька, ее вытеснял строгий полонез, и вдруг

широко разливалась мелодия задушевной песни. И внезапно присоединившись к оркестру, ее подхватывал неизвестно откуда появившийся хор.

Торжество и большое скопление людей ни в коей мере не нарушало обычно размеренной работы соответствующих служб по приему эшелона.

Двери вагонов были открыты. Около них сгрудились больные, наблюдая за происходящим.

Толпе подходить к поезду не разрешалось. Ей была указана по периметру площади граница, переступить которую запрещено. Никаких заграждений или присутствия служителей, охраняющих порядок, не потребовалось. В течение нескольких длительных часов ожидания публика не нарушала указанную границу. Лишь изредка из толпы с надеждой в голосе выкрикивалось какое-нибудь имя. Из эшелона ни разу никто не отозвался.

Процесс передачи больных длился довольно долго. Все это время также легко и весело звучали оркестры: то все вместе, то игриво соперничая и переговариваясь друг с другом.

Это развлекало все возрастающую толпу и подогревало нетерпение больных.

Я сделала последний укол Вальтеру и простилась с ним.

Наконец, закончилась перекличка по вагонам.

Отдельная группа из трех человек – двое представились врачами – принимала у меня больных по документам. Больных из двух «критических» вагонов я передала персонально.

Все бумаги были подписаны. Все больные переданы.

Моя миссия была окончена.

Из служебного здания я вышла на площадь.

Замолчавшая во время повагонной проверки музыка грянула с новым искрящимся задором.

И вдруг резко оборвалась на высокой ноте.

В торжественной тишине на площадь упали с большим интервалом произнесенные слова:

– Германия приветствует своих возвратившихся сынов.

Когда смолк шквал приветственных криков и угас последний звук бравурного марша, тот же голос произнес:

– Начинается выход из вагонов.

Этот процесс тоже невероятно затянулся.

Выходили с трудом, очень медленно, даже относительно крепкие больные. Все они сильно устали за дорогу. Большинству требовалась помощь.

Я с нетерпением ждала, когда очередь дойдет до Вальтера. Я за него не боялась, но мне очень не хотелось, чтобы понадобились носилки. Но произошло почти чудо: с небольшой поддержкой, он сам вышел из вагона и сделал несколько шагов по родной земле. Затем ему потребовалось сесть.

В этот момент я почувствовала, что полностью вознаграждена за свои волнения.

Это время навсегда осталось у меня в памяти как трудное и тягостное, с одной стороны, и как несомненный триумф в достижении поставленной цели, с другой.

Когда мы вернулись в госпиталь, и все узнали как я в течение трех дней ехала в туберкулезном вагоне, мой поступок стал сенсацией.

Он разросся до грандиозных размеров, когда о нем узнали мама, папа и мои московские друзья. Мама настаивала на немедленном обследовании, т.к. считала, что я наверняка заразилась туберкулезом. У меня же подобные мысли не возникали ни разу. И подвигом я свой поступок тоже не считала.

И тогда и теперь я твердо уверена – мой поступок был угоден Богу. Мне удалось выполнить задуманное: почти умирающего Вальтера я довезла живым и не заболела туберкулезом.

Вместе со своими помощницами я стояла у двери нашего вагона. Больные из средних и задних вагонов подходили прощаться, говорили теплые слова. Из передних вагонов, навстречу общему потоку движения, первыми подошли немецкие врачи. За ними последовали и другие.

Это становилось опасно.

В Советском Союзе не любили массовых явлений. Вдогонку всем этим теплым излияниям от бывших врагов-иностранцев, дома, по возвращении, можно было получить статью, вплоть до «измены родине».

Я ушла в вагон и через щель полузакрытой двери до конца досмотрела «Выход из вагонов».

Последнее, что я увидела в свою щель, было красивым дополнением к общей картине праздника. Группа детей младшего школьного возраста подбежала к поезду, и стала бросать цветы выходящим.

А музыка все разливалась по площади.

А что же наши герои?

От всей этой торжественной феерии: приветственных криков сотен людей, вышедших ночью навстречу прибывшим, несмолкаемой радостной музыки, множества цветов, от ярких лучей солнца, словно в их честь заливающих площадь – оттаивали озябшие сердца.

И пришло понимание, что они – вот такие, какие есть – больные, слабые, немощные, ни к чему не пригодные, они нужны своему народу. Что жизнь их не кончилась. И что в этой новой, пока совсем неизвестной действительности им тоже найдется место.

И от этого сознания, без их усилий, как-то сами собой расправились плечи, выпрямилась согбенная спина, выше поднялась голова. И на извечный мучительный вопрос: «А, может, и вправду не все потеряно?» – у каждого в душе прозвучал робкий положительный ответ.

Пышность встречи, устроенной нашему эшелону, ошеломляла. Никто, конечно, ничего подобного не ожидал. Я была бесконечно рада за наших больных, за Вальтера...

Но, Боже мой, какой мучительной и тяжелой болью сжалось мое сердце, когда я подумала об участии наших военнопленных – солдат и офицеров Советской Армии, попавших в плен.

Приказ нашего правительства, еще до начала военных действий звучал жестоко: «В плен не сдаваться. У каждого солдата должна быть последняя пуля – для себя».

Но войны без пленных не бывает.

Много было их и в нашей армии. И никто не знает, сколько тысяч советских солдат, беззаветно защищавших страну, попав в плен, навсегда лишились родины.

Бесчеловечный приказ о военнопленных действовал и после войны. Используя все средства информации, радио, газеты, книги, правительство внушало народу, что все попавшие в плен – изменники, предатели, шпионы иностранных разведок. Ужасным было то, что многие верили.

Страх преследования на родине заставлял этих отверженных людей просить убежища в странах, где их застало окончание войны.

В отдельных случаях и в отдельных государствах – это получалось. В странах, связанных с СССР международной конвенцией о военнопленных, последние подлежали насильственному возвращению на родину. Родина встречала их как изменников и предателей. И эшелоны с военнопленными прямым ходом из-за границы без суда и следствия направлялись в советский ГУЛаг.

Те из них, которым удалось выжить в нечеловеческих условиях и вернуться в нормальную жизнь, навсегда оставались людьми «второго сорта».

Лихие звуки победного марша внезапно прозвучали рядом с эшелоном и прервали поток горестных мыслей.

Я вышла из вагона.

Это последний оркестр покидал уже почти опустевшую площадь.

Около опустевшего эшелона без дела бродили солдаты. На подоконниках и балконах в солнечных лучах еще догорали яркие краски пестрых тканей. Да на ветру трепетали запутавшиеся в ветвях деревьев редкие воздушные шары.

Вот и все.

Я стояла на пустеющей площади, вдали гасли последние звуки оркестра. Ощущение было странным: после стольких дней напряжения – вдруг тишина. Немножко грустно, чего-то жаль. И вместе с тем большая радость. Радость свершения.

На следующий день, почти не показав Франкфурта-на-Одере, нас посадили на пассажирский поезд.

Мы ехали в общем вагоне. К тому, что поезд идет по расписанию, привыкли не сразу.

Заехать домой опять не удалось – в Москве стояли меньше часа. А я уже заранее пригласила своих спутниц к нам в гости.

После всего пережитого, увиденного и передуманного я возвращалась в госпиталь не просто с неохотой, а с активной неприязнью. На душе становилось тоскливо при мысли о необходимости вновь включаться в повседневную рутину административной работы.

Видимо, я просто устала. А может, имело значение то, что я уже смотрела в будущее, так как до истечения срока постинститутской отработки осталось лишь несколько месяцев.

Правда, Елатомцев запретил мне об этом не только говорить, но и думать. Конечно, он будет чинить препятствия. Ну что же, будем бороться.

В Рязани нас встречала машина. Удивились – шофер был незнакомый. Оказывается, работает всего одну неделю.

Новости сыпались градом.

Самая ошеломительная, в которую было трудно поверить, Елатомцева больше нет.

В госпитале другой начальник.

Наконец, мы в госпитале. Встреча бурная, радостная, восклицания, поцелуи.

Главный вопрос – что с Елатомцевым? В Москву уехал внезапно. Госпиталь поручил начальнице 14-го корпуса. Отсутствовал два дня. Вернулся в сопровождении незнакомомго майора. На утренней конференции представил его, как нового начальника. Никаких объяснений, ни официальных, ни просто товарищеских. Персонально ни с кем не попрощался. Собрал свои вещи и уехал в тот же день.

Стало невыносимо грустно. Совершенно непонятно, и от этого – еще более грустно и тяжело.

Новый начальник у дел уже третью неделю.

На другое утро, как обычно, за десять минут до начала конференции я вошла в кабинет теперь уже нового начальника.

Встретил радушно, даже очень приветливо. Встал, вышел из-за стола навстречу. Руки по швам. Елатомцеву подобное и в голову не приходило. Я протянула руку – поздоровались. Представился: майор медицинской службы, Юлий Александрович Тавровский.

Сказал:

– Наконец-то вы приехали. Я вас очень ждал.

Подвинул мне стул, только после этого сел на свое место.

Не только манерами, но и внешне – полная противоположность Елатомцеву, высокий, стройный, подтянутый брюнет в штатском. Заметно моложе Виктора Федосеевича. Приятный голос, плавная речь, с лица не сходит вежливая улыбка.

Разговор был долгий. Расспросил меня о поездке. Затем задал несколько деловых вопросов текущего характера. И заговорил о себе.

Надолго ли он здесь – не знает. Назначение получил довольно неожиданно. Во время войны неизменно был начальником госпиталя. Какого – не указал. Семья – жена и двое взрослых детей, сын и дочь – остались в Москве. Переводить их сюда – воздерживается.

С Елатомцевым раньше знаком не был. Впервые встретился при приеме госпиталя. Здесь, на месте, во многом уже разобрался. Было не легко. Теперь, со мною, ему кажется, все будет легче и проще. Больных стало заметно меньше. Считает, что в Зоне, несомненно, надо кое-что изменить. Необходимо закрыть несколько корпусов. В первую очередь туберкулезный. Его надо ликвидировать совсем. Об этом он уже договорился с начальством.

Излагая свои соображения, изредка останавливался и, обращаясь ко мне, спрашивал:

– А вы как думаете? – Или: – Вы согласны?

Ответы выслушивал довольно внимательно.

А мне все казалось, что, произнося длинные монологи, он сам ими любит. И невольно возникал вопрос: действительно ли он собирается заниматься всеми этими обширными переменами в Зоне, о которых он так подробно говорит? Или он просто хочет произвести впечатление. Ответить себе на этот вопрос я не смогла и поэтому в глубокие рассуждения по поводу его предложений не пускалась.

Он, безусловно, был образованнее Елатомцева, несомненно, воспитаннее, лучше владел речью. И держался как человек очень уверенный в себе.

Поживем – увидим, – подвела я мысленный итог нашему первому знакомству.

Мне было жаль Елатомцева. В его грубой солдатской простоте я всегда чувствовала сердечную заинтересованность в деле, которому он служил. Служил честно, с полной отдачей. Умел, не теряя целого, тонко вникать в детали. Он хорошо относился к людям.

Это было очень трудное время. Не хватало самого необходимого, еще существовала карточная система. Будучи заместителем Елатомцева, я видела, как он внимательно относился к особо нуждающимся сотрудникам, ища и находя возможность чем-нибудь помочь. Он хорошо относился к больным. Умел сопереживать и чувствовать чужую боль.

В новом начальнике я не увидела этих черт. А может, они просто не просматривались за внешним лоском?

Когда монолог, наконец, закончился, я решила ему в тон, так же поделиться своими мыслями о будущем. И сообщила, что до окончания моей послеинститутской отработки в госпитале осталось всего 4 месяца.

Он с трудом переключился другую тему. Помолчал, подумал и сказал:

– Вот как! Жаль. Но хоть немного вместе поработаем.

Ответ меня вполне устраивал.

Утреннюю конференцию новый начальник сократил до 10 минут. Вопросов для обсуждения не нашлось. Из

доклада дежурного врача я узнала, что все койки заняты только в 14-ом корпусе. Остальные корпуса полупустые.

Оказалось, вскоре после нашего отъезда отошел еще эшелон, на котором уехало большое число наших больных. В том числе два последних немецких врача: Шеффер и Хазе. А также печальной памяти Шута.

Вдруг я вспомнила: в период формирования первого эшелона кто-то из немецких врачей сказал, что больные грозятся убить Шута в дороге. Никто не принял этих слов всерьез. Я не знаю, чем все кончилось, но было известно, что при погрузке он просился в вагон конвоя. Его, конечно, не взяли. А потом дошли слухи о каком-то инциденте, происшедшем по дороге именно в этом эшелоне.

Поступление же больных было лишь один раз и только в хирургическое отделение.

Я отправилась в Зону. Она напоминала пустыню. День был теплый, солнечный, и время для прогулок подходящее. А на улице – никого.

Даже обслуги не видно.

Оказалось, с последним эшелонem отправлена половина ее состава. 10-ый корпус опустел более чем на половину. Закрыли зубопротезный кабинет. Анастасия Ивановна занимается только лечением зубов.

О каком переоборудовании и переустройстве Зоны может идти речь, – думала я. Еще два-три эшелона – и в госпитале не останется ни одного больного.

Вся эта система, слава Богу, явно катится к закату. Теперь наша главная задача – удобно распределить больных по корпусам, обеспечив хороший уход при резко убывающей обслуге.

Этим мы и занялись в ближайшие дни.

Осталось три действующих корпуса и один пустой, на всякий случай полностью подготовленный к приему больных.

Значительную часть врачей Тавровский отпустил в отпуск за этот год и отдал долги тем, у кого они имелись, – за прошлый. У меня тоже был месяц в запасе от про-

шлого года. Тавровский захотел, чтобы я сейчас поработала, и обещал совсем отпустить меня на месяц раньше намеченного срока.

Я посоветовалась с мамой и согласилась.

Что произошло с Елатомцевым? Этот вопрос не давал мне покоя. Сам ли он ушел, и почему? Или, как принято говорить, «его ушли»?

Ответа не было. Думаю, Тавровский знал, но молчал.

У Елатомцева было много друзей среди шахтеров. Со многими я была знакома. Говорила с ними. Результат один – не знают. У одного из них узнала телефон московской квартиры Елатомцева.

Когда вернулась домой, много раз звонила – безрезультатно, трубку никто не брал.

Этот очень больной вопрос так и остался навсегда без ответа.

Спустя пять лет после моего ухода из госпиталя холодным осенним утром я ехала в переполненном троллейбусе. Пробираясь к выходу, я вдруг в середине салона увидела сидящего с краю... Елатомцева, или человека очень на него похожего. Та же мощная фигура, квадратное лицо, не очень новая шинель с погонами медицинского полковника.

Он смотрел вперед, мимо меня. Я повернулась, чтобы пойти в обратном направлении. Публика зашипела в несколько голосов.

Не заметить этой суматохи он не мог. Я громко произнесла его имя. Он не изменил позы.

На остановке я вышла.

Эта тайна также осталась неразгаданной.

Последние месяцы моей жизни в госпитале не отмечены никакими сколько-нибудь интересными событиями. Серые дни, похожие друг на друга, как близнецы, мелькали в системе заведенного порядка.

Больных было мало. Поступления почти прекратились. Выздоровевших после травмы больных лагерное начальство забирало неохотно. Потребность в их явно неполноценном труде уменьшилась.

В результате госпиталь постепенно приобретал черты общежития: скопление трудоспособных, в общем, не старых людей, которым нечего было делать.

Кроме того, постепенно росло число больных, которых по несколько раз вычеркивали из списков для репатриации по социально-политическому признаку.

Мало дел и много свободного времени было и у врачей. За пределами госпиталя не существовало ничего, чем можно было бы заполнить досуг. Ничего неделание после многих лет напряженной работы рождало депрессию. А приказа о сокращении штатов все не было.

Некоторые врачи начали поиск другой работы. Находили, готовились к отъезду и вскоре уезжали.

Пышных проводов не устраивали: не было ни средств, ни энтузиазма. Прощались тепло, обменивались адресами и традиционными обещаниями не терять связей, которые, конечно, тут же обрывались сами собой.

Время было такое – приближался 1949 год.

С Тавровским у меня постепенно сложились вполне дружеские отношения. Он оказался образованным и начитанным человеком. Иногда – довольно интересным собеседником. Медициной интересовался мало, госпиталем – еще меньше.

Рутинная работа шла сама собой. Планированная им перестройка Зоны осталась в его красивых планах. Да она и действительно была ни к чему.

Век этих госпиталей подходил к концу.

Однажды солнечным морозным утром, в котором, если очень захотеть, можно было уловить тонкий запах весны, я вышла из своего подъезда с небольшим чемоданом в руках и села в ожидавшую меня машину.

Все теплые прощальные слова были сказаны, все трогательные слезы расставания были пролиты, все пожелания будущего счастья розданы.

Я посмотрела направо.

В ярких солнечных лучах лежала Зона. Все восемнадцать витков ее колючей проволоки, отливали коричневым светом.

Именно с этого места, не через правое, как сейчас, а через левое плечо я увидела ее впервые.

Первый взгляд сопровождался испугом.

Сегодня он был грустным. Между этими отправными точками лежат три долгих года. А по душевному ощущению – сколько всему этому отдано и сколько получено взамен – целая эпоха.

И вот, эта эпоха кончается. Еще несколько часов дороги домой, и она навсегда станет прошлым.

Придут новые люди, наступят новые времена, появятся новые интересы и приоритеты. Безжалостное время сделает свое дело. Поблекнут краски. Потеряют четкость очертаний образы. Забудутся лица и имена. И как говорится в старинных сказаниях «сомкнется водная гладь, потопив в своих глубинах прошлое».

Забывается все. И только первая любовь нетленна.

А госпиталь 4791 и стал тем местом, где родилась моя настоящая любовь к профессии.

Лучший в стране Первый московский медицинский институт, к сожалению, таким местом не стал.

На то, конечно, были свои причины.

Первый послевоенный выпуск врачей, поступивших в институт в последний предвоенный год, испытал все тяготы военного тыла. Почти все мальчики с курса и молодые преподаватели ушли на фронт. В дни битвы за Москву занятия не раз прерывались, половина курса была эвакуирована, оставшаяся не занималась несколько месяцев. Во время ночных бомбежек студенты дежурили во дворах. А еще субботники, лесозаготовки в подмосковных лесах. Не ходил транспорт, мы голодали и мерзли в практически не отапливаемых учебных помещениях.

Училась я хорошо. Занималась с интересом. Но особой любви к избранной профессии, сознания ее исключительности у меня не возникло.

Да об этом, по правде сказать, никто и не заботился. Тогда речь шла о выживании.

И только здесь, в Зоне, за колючей проволокой я впервые вплотную столкнулась с непомерными человечески-

ми страданиями. А рядом были опытные врачи, которые в условиях трудного послевоенного быта самоотверженно боролись за каждую вверенную им жизнь.

Я всматривалась, вслушивалась, вживалась в эту обстановку. Набирая профессиональные навыки, я училась высокой морали, честности и глубокому уважению к больному.

Здесь, в госпитале, мне впервые пришла мысль, что болезнь – это особая страна, где живут несчастные, обездоленные глубоко страдающие люди. Они выпали из ритма привычной жизни. И эта быстро бегущая жизнь обходит их своим вниманием, требованиями, интересами, заботами, неминуемо рождая унижительный комплекс неполноценности. Сопутствующее одиночество дополняет картину безысходности, усугубляя болезнь.

И есть единственный человек, которому дано разорвать порочный круг. Это – врач. Он рядом – и больной уже не одинок. Их двое против болезни. А это уже сила.

Именно тогда, на заре моей «медицинской юности» сложился взгляд на окружающее, критерии для оценки людей.

Человек может нравиться или нет. Он может казаться добрым или злым, умным или глупым, приятным или отталкивающим, порядочным или негодяем. Варианты этих характеристик безгранично разнообразны.

Но есть особая категория людей – это больные. И для врача – это их единственная характеристика. Других не существует. Только она и есть абсолютная основа для их взаимного общения.

Больной всегда прав. Этот категорический тезис не может и не должен иметь исключений.

Он, как мудрый лоцман, в любой шторм выведет в спокойные воды. Надо только уметь им пользоваться.

Этим тезисом я пользовалась всю жизнь. Его абсолютность измерена опытом длиной в 56 лет.

Именно в то время для меня стало очевидным, что медицина в широком смысле слова – это вершина человеческой нравственности, доброты и интеллекта.

Служение ей – великая честь.

Это и значило, что здесь, в госпитале, я впервые полюбила больного и свою профессию.

И вот я прощалась с госпиталем, перебирая в памяти свои переживания, людей, ставших мне дорогими и близкими...

Машина, тем временем, спустилась с пригорка и, набирая скорость, ехала по дороге. Зона быстро исчезала из поля зрения.

Вот мелькнула крыша последнего лечебного корпуса. За нею – ближайшая к дороге сторожевая вышка.

Солдат махнул мне рукой.

Вот и все.

Через несколько месяцев я поступила в ординатуру хирургического отделения Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А.Герцена.

А это уже другая история.

Ина Кузнецова
ЗОНА МИЛОСЕРДИЯ

Оформление Е. Шурлаповой
Редактор Л. Заковоротная
Корректор Л. Иванова
Компьютерная верстка Н. Кильдишева

Подписано в печать 25.11.2005
Формат 84x108/32
Тираж 1000 экз.
Заказ № 2226

Издательство им. Сабашниковых
119270, Москва, Фрунзенская набережная, 38/1

Отпечатано в ГУП ППП Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

По вопросам распространения обращаться
по тел. 242-59-63